



Б. В. ШЕРБАКОВ

**Золотыми  
тропами  
осени**

Б. В. ЩЕРБАКОВ

Золотыми  
тропами  
осени



АЛМА-АТА  
КАЙНАР  
1983

28.088

Щ 61

УДК 502.7

**Щербаков Б. В.**

Щ 61 Золотыми тропами осени.— Алма-Ата: Кайнар, 1983.— 128 с.

Борис Щербаков — писатель-натуралист, зоолог по профессии, известен своими книгами: «У озера звенящих колоколов» и «Ожившие реликты».

Новый его сборник посвящен природе родного ему Восточного Казахстана. Автор пишет о собственных наблюдениях за животными и растениями. Но его главная тема — человек и его отношение к природе.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 28.088

Щ  $\frac{1603000000-032}{407(05)-83}$  116-82

*Рецензент Б. Самсонов, журналист.*

## Матушка да Глаголь

### Выстрел

Подступила незаметно осень. Задумчивая, необъятная тайга роняла огрубевшие от первых заморозков листья. Задевая оголенные ветки осин и берез в недвижном воздухе, они летели в темную воду Лесного озера. Все лето бирюзовым оком смотрело оно из мрачных пихтачей: теперь потемнело и словно заглохло среди холмистой таежной шири.

Угасал день. За малиновыми разводами облаков, изрисовавших западный краешек неба, за тайгой гасло багровое солнце. Высвистывая крыльями, низко проходили сбитые стаи северной утки. Со свистом откуда-то из поднебесья опустились в береговой осочник, залитый мелкой водой, чирки. Рассыпавшись веером, они, прежде чем начать кормиться, на какое-то время замирали. Вдали глухими голосами заговорили гуси.

— Ну вот, и началось, гусь пошел! — отметил про себя Матвей, сидевший на берегу на опрокинутой лодке.

Из-под ладони он всматривался вдаль, в разлившееся бесцветное позднее осеннее небо.

— Пошла птица, пошла матушка. Осень на пятки. Поди уж и снежку где-нибудь подбросило. Сиверком в воздухе запахло. Чует твой собачий нос? — обратился он к лайке Венерке.

В ответ Венерка застегала лихо закрученным хвостом по лежалым пахучим листьям, преданно заглядывая в серые, спрятанные между навислыми седоватыми бровями и широкой белесой бородой глаза хозяина.

Высоко углом тянулся к югу гусиный косяк. Строгие, с оттенком грусти и печали голоса их долго звучали вдаль. Непонятная тревога коснулась сердца Матвея. Не глядя уже на станицы пролетных птиц и словно утратив на время слух, он опустил голову и ощутил острый смолистый запах залитой варом лодки. С этим запахом он отчетливо вспомнил ту далекую пору, когда босоногим мальчуганом с такими же мальчишками здесь, на этом берегу, среди множества пахнущих лодок, где стояло их большое село, купался он в озере до мелкой зябкой дрожи.

Озеро плескалось большое и глубокое. По берегам — тайга да сочные покосы. Стал подростком — с рассвета и дотемна на лугах да в лесу. Дел много было: Матвей старший — по-

мощник отцу. Здесь же он сказал свои первые теплые слова признания Дуняше, ставшей его женой. Потом — война: окопы, ранения.

Шло время, старилось село, постепенно односельчане разъехались по городам. Притихла тайга, обмелевшее озеро заросло, частично загнило от топняка, больше на болото походит. Только кладбище, как и прежде, ошетинилось острыми деревянными крестами. У окна его дома стоит кудлатая постаревшая береза, которую посадили они вместе с Дуняшей в день свадьбы. Да еще ряд тополей — вдоль исчезнувшей уже улицы, да кусты сирени и черемухи в палисадниках грустно шумят в непогоду среди обезлюдившего, опустевшего села.

Теперь один, стар. Только бело-черная лайка, в белых «чулках», с глазами, окруженными темными «очками», преданная Венерка разделяет его одиночество. И самое дорогое у него здесь — Венерка да береза, да Дуняшина могилка на кладбище.

Матвей взглянул на мрачный холм, возвышающийся сразу за селом, отметил, что кресты заметно покосились. Он один хранил верность всему прежнему, что связывало его прошлую жизнь с этим селом. Вспомнил Матвей и о сыне, и внуках, живущих в городе. Они ждут его возвращения из леса, где он неизменно проводит каждое лето, а зиму — у сына. Так оно проще получается.

— Поди уж соскучились, пострелята, о деде? — подумал Матвей, и легкая улыбка коснулась мрачного лица.

Солнце погасло. Закат догорал. Вода густо алела в сумеречной оправе тайги. От земли и озера тянуло холодом. А Матвей все сидел, вслушиваясь в звуки угасающего осеннего дня, в тревожные переклики отлетающих птиц. И вдруг он услышал глухой отдаленный выстрел.

— Неужели ослышался? — напряг слух Матвей.

И будто для подтверждения прозвучал второй выстрел. Глухое эхо, нарываясь на незримые преграды, второй раз прокатилось вдаль за озером. Следом за ним — тревожный лебединый крик.

— Не может быть, чтобы кто-то поднял руку, — успокаивал он себя.

Но это, убедился Матвей, была горькая правда: встревоженная выстрелами стая лебедей забелела, закружилась над озером, посылая полные тревоги крики в опустевшее остывающее небо. Несколько кругов пролетели лебеди над широким плесом, который когда-то называли Дальним. Стая то опускалась к воде, то дружно набирала высоту, и все это время слышались крики и сухое поскрипывание машущих крыльев.

Матвей увидел величественных белоснежных птиц, словно залетевших из какой-то старой, давно позабытой сказки.

Голос тревоги и крик печали понятны каждому. И поэтому печаль перелилась в растревоженное сердце Матвея. Он видел, как птицы покружили еще некоторое время, а потом, не переставая кричать, скрылись в темнеющем небе.

— Неужели подстрелили?— спрашивал себя озадаченно Матвей.— Не может быть... Нет, это какое-то совпадение. Не звери же,— успокаивал он себя.

Но вдруг опять мысли его внезапно прервал одинокий лебединый крик. Как показалось Матвею, голос этот звучал особенно тревожно: в нем слышались смертельная тоска, неутешное отчаяние и одиночество. Вовсе не по себе стало Матвею. Больше, чем прежде, ощутил он скрытое, спрятанное где-то в душе притупленное горе, которое вдруг зашевелилось, зазвучало. И он сразу решил: завтра же утром уйдет в город, к сыну, к внукам. Уйдет от этой давящей на него тишины, охраняемой вечно задумчивой тайгой и давно забытым людьми селом. Ему нужны люди, а не это сиротливое озеро, плещущееся в глухой таежной чащобе, не эти заросли, не печальный ряд тополей и не глубокое осеннее уныние. А тут еще выстрелы и тревожные лебединые крики...

Матвей позвал Венерку и, тяжело ступая, пошел к своему одинокому домику, стоящему у берега. Сейчас ему казалось, что домик тоже печально смотрел в угасающие отблески меркнувшего дня. Все еще не унимался лебединый зов, хотя уже слезливо заморгали влажные подслеповатые звезды. Широкой волной прошелся ветер, ударил ставнем, и еще долго о чем-то своем, невеселом, шептались скупившиеся у берега старые пихтачи.

Не спалось Матвею. С боку на бок ворочался он на шатком скрипучем топчане. Вставал и подолгу всматривался в непроглядную тьму, обступившую тревожный мир. Всю ночь ему слышался ранивший душу лебединый зов, так властно теснящий его покой.

С первыми проблесками света он вышел на крыльцо. Сладко потягиваясь, свернув калачом розовый язык и далеко отставив задние лапы, зевая, следом вышла Венерка. Среди черно-синего кольца тайги чутко дремало отшлифованное тишиной и покоем озеро. Серебром отливала в нем луна.

— Пошли, сердце мое чует — беда стряслась,— позвал Венерку Матвей и, сдернув с сени шест, направился к берегу, привычно опрокинув и подтолкнув к воде лодку.

Под днищем ее проломился и зашуршал тонкий зернистый ледок. Пузырьки воздуха перламутровыми зайчиками тесни-

лись под уцелевшими стеклами заберегов. Венерка вскочила в лодку и, как всегда, по-хозяйски уселась на нос. Ее собачье сердце подсказывало, что сегодня что-то будет.

Много времени ушло, как в последний раз таскала она стреляных уток, разгоряченная охотничьим азартом, прыгала в такую же ледяную воду. А сейчас ее ум угадывал другое — хозяину не до охоты. Она видела, что он не таится: он вдруг принимался громко сморкаться, гремел шестом и как-то неуклюже, без страсти и внимания подталкивал лодку к середине озера, а не вдоль берега, где обычно прячется утка. Силясь понять, зачем плывут, Венерка озадаченно крутила головой, ставила уши, то и дело вскакивала, садилась и все взглядывала на занятого делом Матвея.

А он топил шест то с одной, то с другой стороны и с силой отталкивался им от дна. Разрезанная носом лодки вода слегка звенела, да глухо гремел шест, доставая ее дутые бока. С тонким «вись-вись-вись», с криканьем поднимались кормящиеся у берега утки и чирки. Вереницы их, набрав высоту, вытягивались живыми веревками, затем перемешивались, выстраивались и завязывались в причудливые узлы, уходя вдаль. Тонкий парок вился над водой и бесследно сливался с серебристо-серым, оттаявшим от мрака воздухом. И вдруг, шумя крыльями и шлепая по воде лапами, поднялся лебедь и стал кружить над тайгой и озером.

— Не-ет, неспроста кружит. Похоже, беда случилась! — сказал Матвей.

Венерка беспокойна, она дрожит от нетерпения и силится понять, о чем таком говорит с ней хозяин, вострит уши, вертит головой, прислушиваясь, бьет крутым хвостом и мечет взгляды то на Матвея, то на озеро: вдруг кто-нибудь опять полетит.

Лодка вышла к Дальнему плесу. Подступивший вплотную зубчатой стеной лес отражался в воде. Вспыхнуло солнце. Лучи его, озарив макушки пихтачей, высветили слюдяную изморозь, осевшую на ветвях.

Венерка заволновалась: она с храпом тянула воздух, взглядывала на Матвея, повизгивала и беспокойно крутила хвостом. Положив поперек лодки шест, Матвей встал на дощатое сиденье и внимательно оглядел порыжевшие, побитые непогодой, первыми заморозками редкие заросли тростничка и рогоза, идущие от берега к плесу. За курящимся парком, повисшим над водой рыжими зверьками, корчились кочки мохнатого осочника. Но что это? — на травянистой косе, идущей вдоль плеса, на мгновение показалось и исчезло белое пятно. Матвей засуетился, тут же повернул лодку, спешно стал подталкивать ее к тому месту.

Крупная белая птица лежала на отмели косы. Она с трудом поднимала одно крыло, которое вставало, подобно бело-снежному парусу. Завидев приближающуюся лодку, птица рванулась, забила забрызганным кровью и грязью единственным крылом, второе — было недвижно, вот она бессильно уронила голову, вытянула шею, также забрызганную ржавыми пятнами крови, затихла. Венерка первой выскочила и пустилась к ней.

— Назад! — властно крикнул Матвей.

Повинуясь, собака жадно тянула ноздрями воздух, вздыбив загривок, заходила кругами около бьющегося лебедя. Сверху в свисте и скрипе крыльев прозвучало грозное — корр, коррр, коррр! — Над собакой строжился лебедь. Он сердился и предупреждал, пролетая над ней, Венерка растерялась. Ей еще не приходилось иметь дело с лебедями. И поэтому она не знала их смелости и отваги. Она испуганно поглядывала больше вверх, чем на раненую птицу. А лебедиха отчаянно била крылом, и, подобно стону, над озером летел ее прощальный крик. Также печально отвечала ей ранняя осенняя даль. Отсветы встающего дня вспыхивали розовым перламутром на сильных крыльях летающего лебедя.

— Матушка ты моя! — Матвей подскочил к птице, перепачканной грязью и кровью.

Плотно прижав ей крылья, осторожно поднял. Голова ее бессильно падала. Страх и немой укор видел он в ее темных, чуть поблекших глазах. Глухое шипение ползло из простреленной груди.

— Руки бы у вас поотсохли! Якорь вас задеря, — ругался он, — нет ничего святого для вас!

Будто понимая значимость случившегося, Венерка повизгивала от передавшегося ей напряжения. И пока Матвей нес лебедиху, она пыталась дотянуться носом и передними лапами до нее, пачкая грязью Матвея.

— Уймись ты, холера! Кому говорю! — с напускной строгостью ругался он.

— Вот же негодяи! Матушка ты моя! Бедная! — все не успокаивался он, разгневанный поступком черствого человека, стрелявшего в лебедей.

Он накрыл лебедиху полушубком и положил в нос лодки. Дома, осмотрев ее, к радости своей убедился — кости целы. Простреленными во многих местах оказались мышцы. Значит была надежда, что, поправившись, она сможет летать. Присыпав наспех раны золой, чтобы не гноились, Матвей уложил ей, как положено, крылья и обмотал потуже простыней, чтобы не билась, не бередила кровоточащих ран. Свободной оказалась только голова. Лебедиха, покоровшись судьбе, теперь не пы-

талась вырваться. К тому же она натерпелась боли, страха и поэтому совершенно ослабела — не могла шевельнуться.

— Так надо, Матушка моя. Потерпи, милая. Бог даст — поправишься и снова станешь летать,— приговаривал Матвей, отгораживая для нее угол избы у окна осиновыми стругаными жердями.

Перед несчастной пленницей он поставил чашку с водой, накрошил хлеба и, слегка втиснув ее между двумя кругляками поленьев, аккуратно уложил. Будто загипсованная, лебедица не могла двигаться и тем более размотать простыню или перевернуться. Оставалось одно — дотянуться до пищи и воды в чашках, расставленных перед ней. Матвей запер дверь и, окликнув Венерку, ушел к озеру.

### Глаголь

Сидя на опрокинутой лодке, Матвей вел неторопливый разговор.

— Ну, что делать-то будем? Время подошло, в город ехать надо. Зима скоро, а тут вот лебединая история. Жизнь ее теперь на нашей совести. Только бы 'от еды не отказывалась, а там подлечим как-нибудь.

Венерка привычно юлила, путаясь у его ног.

— Ты вот — собака. Поэтому, кроме всего прочего, ум у тебя тоже собачий. Тебе бы по своей природе только бы вынюхивать да давить.

Он помолчал:

— Нет, ты у меня молодец, хоть и собака, а не хищная. За это люблю тебя,— и Матвей ласково потрепал ее по пышному загривку, расчесанному ветрами:

— Я — человек, авось тебе это известно, а то поди и в башку твою собачью мысль эта не приходила, что я человек. Я и подлечу лебедку. Вот тебе и человек, Венерка,— Матвей посмотрел на нее.— А кто, спроси, стрелял — тоже человек. Что получается: есть человек человеческий, а есть зверь. Так вот и стрелял — зверь, называемый человеком!

Одиноко, подобно белой лилии, посреди озера сидел неподвижно крупный лебедь, изогнув дугой гибкую шею.

— Вот горе-то еще на мою голову седую! Слышишь, как он глаголет? За версту слышно. Зовет бедняга лебедушку свою. От его крика сердце пополам рвет. Вот ироды проклятые! Руки бы у вас...

Матвей повернулся в сторону кричащего лебедя:

— Ничего, голубчик, поглаголешь-поглаголешь, поволну-

ешься, куда деться — улетишь. А там помаленечку и позабудешь. А мы с Венеркой уж как-нибудь лебедушку подлечим.

На следующее утро с рассветом Матвей был уже на ногах. Протяжный дверной скрип нарушил зыбкую тишину, растревожил настывший беззвучный воздух. Следом — Венерка.

— Я в город, — обернулся он к собаке. — Останешься домовничать. Стереги дом. Никуда, понятно? — Матвей пригрозил ей пальцем.

Догадываясь, чего требует от нее хозяин, Венерка послушно села на крыльцо, угодливо и непрерывно постукивая хвостом и, облизываясь, косясь, поглядывала в его глаза.

— Продукты кончились, понимаешь? Муки да того-сего надо. Поняла? Пешком тяжеловато в распутицу. Никакие колеса не пройдут по такой грязи. Верст тридцать с гаком топать надо. Оно и в городе нас потеряли. Ну, бывай!

Матвей подправил на спине тощий рюкзак, перекинул через плечо ремень двустволки и еще раз, на всякий случай, пригрозил «домовнице» сучковатым ботажком. Чуть сутулясь при своем высоком росте, он легко пошел по разъезженной и залитой дождями дороге. Венерка было кинулась вслед, но Матвей остановился, строго посмотрел на нее из-под бровей. Виновато оглядываясь, она нехотя поплелась к крыльцу, где долго еще сидела, обиженно всматриваясь и вслушиваясь в дорогу. Чутким ухом она ловила каждый шорох последних падающих листьев и мерно отдаляющееся чавканье сапог уходящего Матвея: Ее так и подмывало догнать его, однако она помнила наказ и, свернувшись в кольцо, накрыла нос пестрым хвостом.

Только через сутки к вечеру Венерка уловила шаги хозяина и сломя голову кинулась встречать. С трудом переставляя ноги, по колено в грязи, уставший, возвращался Матвей.

— Ну, что, соскучилась? Это хорошо! Сейчас угощу городским кушаньем. Как там наша Матушка? — ласково говорил он.

Лебедиха по-прежнему лежала, обмотанная простыней. Первое, на что Матвей обратил внимание, это то, что пища около нее исчезла и, как показалось ему, смотрит она веселее. Быстро разгрузив рюкзак, он насыпал ей пшеницы, тут же кусок ливерной колбасы сунул Венерке. Растопил печь. В настывшей избе разлилось тепло. Запахло живым. Сквозь щели печной дверцы пробивались отблески беснующегося пламени, огнистыми зайчиками плясали они на деревянном шелеватом полу и тесовых стенах. Назрело тепло. Густо запотели окна. Зашумел и загремел крышкой поспевший чайник. Не зажигая лампы, уставший Матвей пил чай впотьмах; молча и тяжело вздыхая, он предавался невеселым раздумьям: «Возраст — не

шутка. Когда это было, чтобы он, Матвей, так устал от дороги? А что дальше? Кости и поясница ноют. Похоже, дождь будет. Ходячим барометром стал, якорь тебя задержи!»

За окном в непроглядной осенней тьме по крыше и окнам задробил мелкий просяной дождь. Долго не спалось Матвею. И не от того, что устал или ныла поясница. Больше всего тревожили душу ненужные тяжелые мысли. Он слышал, что не спала и лебедиха. Она почти по-человечески тихо вздыхала и все пыталась сдернуть давящее ее облачение. Одна Венерка, тихо посапывая, блаженно развалилась у порога.

Дождь шел всю ночь и угомонился перед рассветом. Стало вдруг глухо и тихо, словно законный мир оглох. А когда рассветело, Матвей увидел, что все вдруг бело. Снег забелил землю и белыми шматками лежал на темнолапом пихтаче. Льдистые иглы посшивали разъезженные дорожные лужи. Только с середины Дальнего плеса тяжело поднимался и рассеивался серый туман. Тоненькими голосами о чем-то своем переговаривались синицы. Чекали и свистели поползни. Безмятежность полудимного утра и лесную тишину вдруг резанул все тот же тревожный лебединый крик.

— Опять, что ли, лебеди на озере? — озадачился Матвей. — Тыфу ты! Якорь тебя задержи! Да это же тот самый Глаголь, что из-за лебедихи остался. Вот беда! Погибнет ведь ни за грош, как только замерзнет озеро.

Сквозь туман Матвей пытался разглядеть лебедя. И все удивлялся:

— Откуда знает, что она жива? И не ведомо ему, что зимушку зимовать ей придется со старым Матвеем и Венеркой.

Он нагреб со дна у берега побуревших от заморозков стеблей и корней, водорослей, набив ими корзину, понес в дом.

Прошло около недели.

— Давай-ка, милая, посмотрим тебя.

Матвей развернул простыню, и лебедиха на удивление с трудом, но встала на широкие лапы, словно обутые в темные резиновые ласты. Матвей тут же принял решение вынести ее на свежий воздух. Оказавшись в ограде, она настороженно вытянулась, сделав несколько неуклюжих прыжков, шлепая лапами, ударила здоровым крылом оземь, но повалилась набок. Нервная болевая дрожь прокатилась по ее израненному телу. Поняв безнадежность своего положения, она встала, подобрав крылья, издала призывный крик и, припадая на лапу, сделала несколько шагов в сторону озера. Эхом крик ее возвратился с Дальнего плеса — ей отвечал самец. Вот и сам летит на ее призыв. Но его испугало человеческое жилище. Он тут же набрал высоту и большими кругами стал стремительно летать в небе.

Наклонив голову, лебедиха пристально вглядывалась и вслушивалась, следя за ним. А лебедь купался в холодном небе в этот утренний час. Долго летал он и, словно поняв, что напрасен его призыв, опять сел на середину Дальнего плеса, но долго еще подавал голос и взволнованно кружился на одном месте.

— Ишь, как глаголит-то,— говорил Матвей.

Много-много еще раз Матвеем пришлось быть свидетелем подобных переключений, сопровождаемых полетами самца. Но он ничем не мог помочь верным белокрылым супругам, расставшимся у забытого людьми озера и одинокого домика, до которых сейчас никому не было дела.

Только во второй половине дня лебедь успокаивался и принимался кормиться: опускал в воду клюв и вертикально, поутину, вставал белым поплачком. А Матушка в это время молча мерила расстояние между углами, ковыляя вдоль ограды Матвеева домика. Ее не оставляло желание прорваться к воде. Иногда, забывшись, она поднимала свое здоровое крыло и будто звала, махая им, как белым платком. Она как бы хотела сказать: «Вот видишь — я не виновата, лететь совсем не могу...»

— Невеселая картина,— думал Матвей,— а тут еще вот-вот мороз ударит. Что тогда?— Погибнет лебедь. ее, вот и все. Летел бы себе подобру-поздорову. Якорь тебя задави!

Потом Матвей обычно принимался ругать тех, у кого рука на них поднялась. И кончалось одним и тем же: он садился на перевернутую лодку, доставал кисет. Сыпал на шершавую ладонь махорку и не спеша набивал трубку. И только затянувшись, успокаивался.

Венерка, похоже, за эти дни разобралась что к чему, а главное, она поняла, что вокруг них происходит нечто особенное. «Высказывала» это она своей нервозностью, особенно в те минуты, когда слышался крик лебедя: тут же, заслышав переключенный, подбегала к Матвееву и, встав на задние лапы, передними подпирая его бок и глядя в глаза, потихоньку влаивала, нарочито фыркала и кидалась в сторону озера.

— Умница ты моя!— говорил Матвей.

Лицо его светлело. Он трепал ее за уши, гладил и похлопывал по пышным пестрым бокам.

— Мы, Венерка, сделаем все, чтобы Матушка выздоровела. Обязательно ее на крыло поставим. А потом — на все четыре стороны, попутного ветра, как говорят... Другое дело Глаголь ее. Что с ним делать-то? Замерзнет, якорь его задави. А что поделаешь, такова жизнь!

Осень в этот год затянулась. По ночам резвились замороз-

ки, а в полдень, как по заказу,— тепло и солнце. Однако с огорчением Матвей отмечал, что с каждым утром ширились и крепили ледяные забереги. Ледовое кольцо вокруг незамерзшей воды постоянно уменьшалось. К этому времени лебедиха уже поправилась и ходила легко, но летать еще не могла и не стремилась. Она словно поняла, что ее крыльям нужен покой. И как только слышит призывный крик своего Глаголя, места не находит: бегаёт из угла в угол, вдоль забора, в ответ посылает тоскливые, зовущие крики.

Не заметил Матвей, как за эти скучные осенние дни он сблизился с Матушкой, не заметил, как успел привязаться к лебедю, хотя еще близко и не видел его. Уважал его Матвей прежде всего за то, что он чем-то походил на него самого: лебедь также хранил глубокую верность и преданность своей лебедихе. Матвей тоже решил умереть здесь, где похоронена его Дуняша, где прошла его жизнь.

Ночь от ночи осень, как хищная птица, глубже запускала ледяные когти в промерзшую землю. Задубели от заморозков ветви сквозных осиновых и березовых перелесков. Еще чернее и сумрачнее стали пихтачи. Совсем пожухли и полегли лесные травы. Только не сдавалась середина плеса, обрамленная застекленной чашей озера, где кружил по воде в предзимье одинокий лебедь...

В тот хмурый вечер небо затянулось сплошным пологом серых туч. А утром от выпавшего снега прибавилось яркости, и колкий воздух веселил глубокое очистившееся небо. Чуть свет вышел Матвей к озеру. Матовый лед, припорошенный снегом, неподвижным полем покоился в плену пестрой бело-темной тайги. Тоскливое безмолвие подступившей зимы в этот час околдовало все. Почуввав свежий снег, Венерка обрадованно, как горстями, хватала его запаленной пастью, каталась, фыркая и чихая. Только у Матвея мерзли руки, и время от времени он согревал их, пряча на груди.

— Что делать-то дальше? Зима!— обратился он к Венерке.— Стало быть искать надо лебедя. Может, он где-нибудь здесь, а может, улетел или еще хуже — лиса придавила?

Опрокинув лодку, прихваченную морозом, с силой столкнул на лед. Она легко скользила, оставляя широкий шероховатый след. Матвей знал, что еще рано полагаться на лед — провалиться немудрено, толкал лодку, держась за корму. Подошли к Дальнему плесу, основательно покрытому льдом. Но здесь тонкое ледяное поле не выдержало и под их тяжестью причудливыми паучьими лапами разбежались в стороны молнии-трещины. Матвей, а следом и Венерка заскочили в лодку. Осев, лодка погрузилась в черную, закованную льдом воду.

Матвей заработал шестом: с треском и шуршанием они медленно проламывались вперед.

Вставшее солнце в союзе с чистым снегом слепило, и Матвей то и дело протирал слезившиеся глаза и, не полагаясь на зрение, беспокойно всматривался в то место, где еще вчера середина дышала теплом. И вот он видит какое-то живое и белое пятно. На льду сидел лебедь, крепко-накрепко схваченный морозом за крылья и хвост. Его голова на длинной бело-снежной шее сейчас казалась висевшей в воздухе. Заметными были лишь дутый шишकाстый клюв да черные мазки глаз. Лебедь дергался, но не мог одолеть силы, удерживающей его. Лед мертвой хваткой схватил свою добычу, рвущуюся в небо.

— Ах ты, бедовая голова! Дурень ты, дурень этакий! — ласково приговаривал Матвей, поспешно пробивая перед лодкой лед, чтобы добраться до него.

Металась Венера. Она то и дело вспрыгивала на борт лодки и, срываясь с него, лаяла и визжала с досады.

— Да замолчи ты, чертовка вертихвостая! Я вот тебе! — топал на нее Матвей.

Подплыв к лебедю, он осторожно обдолбил вокруг него лед. Насмерть перепуганная птица, выбившись из сил, присмирела и, подобно загнанному зайцу, косила темным невинным глазом. Но вдруг, согнув вдвое шею, лебедь громко зашипел и замер, не мигая. Велик страх перед человеком, его-то он боялся больше всего на свете. Матвей знал, что голыми руками лебедя не возьмешь. Чего доброго, могучая птица, высвободив крыло, одним ударом руку переломит. Он скинул полушубок, накрыл лебедя и выволок вместе с куском примерзшего льда.

— Ну и дурень! Ну и дурень! Летел бы себе подобру-поздорову в края теплые, а то вот: попался, в лапах у смерти был. Видите ли, он — лебедь, и потому верность свою нам доказывал... — пошучивал Матвей.

А втайне был очень рад, что Матушка теперь не одна. И какая разница, с одним или с двумя возиться. Когда они вместе — интереснее, пожалуй.

— Ладно, ладно, якорь тебя задери! Все что ни делается, все к лучшему. Сейчас лебедиху свою — Матушку — увидишь. Будете жить у меня, парочка, баран да ярочка, по имени Матушка да Глаголь. Оно и нам веселее станет. Зима покажется короче.

Лебеди оказались вместе по воле Матвея, по велению его сердца. Только вместо лазурного купола небес над ними висела плоская тесовая крыша, да горизонт замыкали стены. И не в голубых зеркалах южных лиманов отражались их белоснежные фигуры. Душистое сухое сено с сочным лугом у

Лесного озера окружало их. Вместо берега — свежеструганые жерди ограничивали свободу передвижения по избе. И всегда около них хлопотал старый, ласково говорящий Матвей, поглаживающий свою бороду. Рядом с ним — верная Венерка. Она следовала за ним всюду и внимательно слушала его; как бы понимающие поддакивала, отстукивая хвостом и беспрестанно тыкалась влажным носом в руки и колени хозяина.

— Кушайте, милые, — приговаривал Матвей, подсовывая чашки лебедям, — вас теперь никто не обидит. Времени у нас море — зима впереди. Как-нибудь попривыкнем друг к другу. Африку потом увидите свою. Я вот тоже внучат нынче из-за-вас не имею возможности видеть. Якорь вас задери! Но что поде-лаешь? Значит, так надо! Не все оно получается в жизни нашей, как хочешь. И всяк из нас мир строит по-своему. Я тоже по своему разумению все это с вами затеял. Иначе нельзя. Иначе уважать себя перестану.

Прислонившись друг к другу, лебеди молча сидели и внимательно глядели на старого человека. Он целыми днями все что-то делал, что-то говорил, и голос его действовал успокаивающе. Лишь мелкая, едва уловимая для глаза дрожь выдавала скрытое напряжение птиц и не проходящий до конца извечный страх перед человеком.

Едва рассветало, Матвей оставлял свой топчан. И тотчас теплым золотистым огнем вспыхивали окна домика. Следом голубоватый столб дыма вырастал над крышей, крона его расползалась и, цепляясь за вершины пихтачей, сочилась в глубь лесной чащи. Затканные мельничоровыми кружевами инея окна едва пропускали дневной свет в остывшую за ночь избу. Поэтому Матвей с утра зажигал лампу-семилицейку. Керосиновый дух, нагорая, создавал для Матвея старинный уют среди прокоптившихся тесовых стен. Обшитый жестяными полосками сундук, широкий деревянный топчан, скамейки и широкополая бокастая печь напоминали ему также о далекой поре детства и юности. Пожелтевшие от времени фотографии за стеклами в темно-зеленых самодельных рамках сохранили лица очень близких и дорогих ему людей. Строгий и внимательный взгляд Дуняши, казалось, неотступно следил за ним и за всем, что делается в избе. А вот они фотографировались в день свадьбы... Матвей подолгу смотрел на лица — свое и Дуняшино. Они казались ему гораздо ближе, дороже, чем раньше.

Матвей переводил теснящее грудь дыхание, подходил к пожелтевшему старинному большому зеркалу, вглядывался в свое лицо, оглаживал бороду, и, махнув рукой, поворачивался к образу, спрятанному во мраке угла и, что-то шевельнув губами, отходил к печке. Доставал кисет, медленно и аккуратно

истил трубку, а потом так же аккуратно начинал ее табаком. С наслаждением затягивался крепким дымом и подолгу, не мигая, глядел на дрожащий лепесток пламени, живущий в стеклянном пузыре лампы. Дрожали и шевелились на стенах громадные карикатурные тени от вещей нехитрой обстановки и от него самого. Вскоре утробной трескотне березовых поленьев в печи задал тон чайник: от вскипевшей воды плясала и тряслась, как в лихорадке, крышка. Матвей бросал в нее шепотку пересоших коричневых листьев чагыра или несколько корешков белочного корня\*, отставлял чайник и ждал, пока настоится заварка. Позавтракав, он смахивал со стола крошки, набирал горсть зерна в торбе и, накинув поверх полушубок, открывал форточку, где его неизменно поджидала ватага синиц и один-два поползня. Очистив от куржака и снега кормушку, он высыпал корм. Затем менял воду в тазу и подсыпал зерна, хлебных крошек лебедям.

— Ну вот,— обращался он обычно к лебедям или к Венерке,— все теперь сыты и на душе веселее. Оно не зря раньше считали, что когда серединка сытая, края говорят. Ну что, Венерка, за дровишками или на охоту?

Услышав слово «охота», Венерка тотчас приходила в неумеренный восторг: с визгом и лаем бросалась сначала к двери и, толкнув ее лапами, бежала к Матвею, вскакивала на топчан, к стене, на которой висело ружье. Хватала шапку, рукавицы, несла их и осторожно бросала к его ногам.

— Ох, азартная шельма! Вся в мать удалась. Беда вот, охоты нет. А тут еще стар стал, якорь тебя задери! Только и осталось, что за рябчиками да за зайчишками ходить. Глухаря, почитай, не встретишь; да много чего уж нет.

Затем нить разговора вела к лебедям, и он тут же принимался костерить на чем стоит свет тех, у кого на таких птиц не дрогнуло сердце и поднялась рука. И каждый раз Матвей подходил и осторожно гладил лебедей по их белоснежным спинам, трогал тугие плечи крыльев. Лебеди сначала сторонились его, шипя, но потом привыкли. Гладить их Матвею доставляло огромное удовольствие.

— Ничего, переживем!— приговаривал он.— Новый год уже на подходе, а там, как говорят, цыган шубу продает, потом святки и все — конец зиме.

К середине зимы лебеди окончательно привыкли и лишь иногда, словно для острастки, гнули шею, шипели, а Глаголь поднимал угрожающе крылья. Однако никогда ни клюва, ни

---

\* Копеечник западно-сибирский, называемый белочным, так как растет вблизи снежников, белков.

крыльев в ход не пускал. Матвей делал все возможное, чтобы Матушка выздоровела. Часто, в погожие дни, вооружившись пешней, он выходил к озеру, долбил зеленый, как бутылочное стекло, лед. Из лунок железной кошкой выдирали растительность с корешками, похожими на коричневых крабов, все это потом резал на кусочки и бросал лебедям. И они охотно поедали «зимний салат», как называл его Матвей. Мало-помалу, с каждым днем не только исчезало недоверие со стороны Матушки и Глаголя, но у них рождалась глубокая привязанность к человеку. Птицы окончательно поняли доброту старого Матвея, и он от их доверия тоже по-своему был счастлив:

— Я же знал, что попривыкнете, — говорил он, подбрасывая им зелени.

Иногда он угощал лебедиху свежим разведенным соком калины.

— Это тебе, Матушка, выздоравливай, — подвигал ей чашку.

Лебеди брали корм, чистили перья уже без всякой опаски и настороженности. Без страха воспринимали ранее пугавшие их звуки и шорохи. Иногда к Матвею подходил Глаголь, вытянув шею, ловил его шершавым клювом за рукава. И Матвей обязательно угощал его чем-нибудь. И вот однажды Матвей решил разгородить жердяной барьер:

— Пускай гуляют, а то и крылья негде расправить.

Лебеди первое время словно не замечали, что им предоставлена свобода и только спустя некоторое время стали прогуливаться за пределами отведенного им угла. Каждый раз, насытившись, они садились на сено. Лебедиха приваливалась обычно на здоровое крыло, расправляла раненую ногу и дремала. Во время сна ее Глаголь стоял на одной лапе, как прежде на свободе в родной ему стае. Он зорко следил за всем, что происходит вокруг. В нем проявлялась сила привычки,работанная его предками за долгие века: когда стая спит или просто отдыхает, сторожевой несет вахту. В нем говорил голос крови гордых птиц.

Случалось, Матвей, лежа на топчане, часами наблюдал лебедей, выходявших на середину избы. Особенно ему нравилось, когда они принимались, разминая залежавшиеся крылья, усиленно размахивать ими, подскакивая вверх и шлепая по полу лапами.

— Всем хороши! — любясь ими, рассуждал Матвей. — Только в походке малость неуклюжи. По-утиному ходят — вперевалку, косолапые. Крылья — это да-а!..

Особенно трогала его их привязанность и ухаживания друг

за другом. В эти моменты они сплетали шею, чистили друг друга перья, были внимательны и предупредительны.

— Скажи, пожалуйста! — восхищался он. — Какая прелесть на земле! Сколько благородства и достоинства. Главное, как в людях — есть внутренняя красота! Душевная птица — лебедь! Недаром столько песен про них. Мы-то их просто птицами, глупыми тварями считаем. Мол, только мы, люди, понимаем что к чему. А оно интересно как-то получается: они тоже кое в чем не хуже нас, если даже не лучше. Кое-чему у них поучиться не грех, чтобы нам человечнее стать. А мы?! — он с болью вспомнил тот момент, когда впервые увидел Матушку — стреляный лебедь, что окровавленная роза.

Матвей поднял большой кулак и погрозил в сторону озера:

— Руки бы у вас поотсохли, якорь вас задерит! И чего только не уничтожили за мой век. Вроде бы все для себя делаем, а получается наоборот, — рассуждал он, — обижаем, получается, природу. Душа у нее, оказывается, живая. Оно и понятно, что пораненное тело легче врачевать. А если душу ранишь, то все другое — трудно лечить! Правильно думаю, Венерка? — обратился он к сидящей подле него четвероногой подруге.

Венерка сейчас понимала одно, что хозяин ее добрый и говорит что-то хорошее, поэтому преданно тянулась к нему, совала в колени морду и отчаянно молотила хвостом.

### Снежка

Каждое утро Матвей выходил к окну и сыпал в кормушку то горсть зерна, то крошек, а то кусочек сала привесит. И понятно, всю зиму под его окном мельтешили синицы да поползни. Бывало, изредка дятел заглянет. Сунется туда-сюда, раз, другой долбанет, как долотом, по кормушке или по бревну стены. Обежит ствол березы, и поминай как звали. А вот синицы, хоть расписание пищи: время хорошо знают. Запоздай он, с постели подымут. То вроде бы случайно к окну прицепится одна, потом — другая, то цыкнет, то стукнет. Либо, хуже еще, барабанить во всю мочь примется. Не хочешь, да встанешь. Нет, не скучал Матвей со своими подопечными. Целый день дела какие-нибудь занимали его, поворачиваться только успевай.

И вот однажды, в погожее декабрьское утро, перекинув через плечо ремень двустволки, на широких подбитых камусом\* лыжах Матвей вместе с Венеркой отправился в лес. Под нога-

\* Камус — мех с лап северного оленя.

ми протяжно пел и скрипел промороженный снег. Слюдяная луна медленно оттаивала в отголубевшем небе. В чуткой тишине настороженного леса тихо и уныло свистел лесной сыч, заговорила мягкокрылая кукушка в черном пихтаче, и снова — морозная тишина. Перевалив седловину и оказавшись в Заячьем логу, Матвей вышел к растрепанным зарослям кустов, скрывающим коричневато-серым войлоком ветвей пойму речки.

— Зайца нонче — пропасть, — отметил Матвей, оглядывая истоптанный снег и погрызы на кустах. — А у этого словно не зубы, стамески, как ножами выхватывает, — удивлялся он, осматривая следы резцов кормившегося лося: осинового молодняка был сильно иззубрен мощными зубами лесного великана.

Челноком заходила Венерка, тыкая мордой в снег. Она глубоко зарывала голову, жадно с храпом тянула воздух, вскидывала голову, чтобы прочихаться, и снова — в снег. Потом затрусилась дальше, оглядываясь на Матвея, медленно и спокойно идущего следом. Венерке совершенно непонятно: столько разных следов и еще больше запахов, а хозяин ничего не подозревает. Идет себе как шел. Вот непонятные люди! И она то забегала вперед, то уходила в сторону. И вот Матвей заметил, что у нее хвост в работе и сама закрутилась, что-то вынюхивая. Он снял ружье. Но Венерка по-прежнему толкала голову в снег, тут же вынимала ее, похожую на валенок с живыми подвижными глазами, облепленный снегом. На снегу тянулся веер отпечатков крыльев, похожих на бабочкины. Ясно одно, оставила их какая-то пичужка. Видимо, птичка ослабла, не могла лететь и, добираясь от небольшого стога, что снежным колоколом стоял поодаль, к утонувшей по горло в снегу елочке, оставила этот легкокрылый след. Матвей, приструнив Венерку, взял ее за ошейник и пошел, всматриваясь в необычный снежный рисунок. Под старой пихтой на взгорке след оборвался. На снегу укрытый синеватой тенью, подобно румяному упавшему яблоку, сидел нахохлившийся круглый снегирь. Он тяжело дышал. С каждым вздохом крылышки и хвостик у него заметно поднимались и опускались. Пичуга пыталась улететь, силы оставляли ее. Осторожно зачерпнув в ладони невесомую пичужку, Матвей подышал на нее открытым ртом и поспешно спрятал под полущубок на груди.

— Какая охота, видишь? Домой надо. Будем спасать красногрудого калинника, не то скоро богу душу отдаст. Истощен, как щепка. Жаль птишку! — говорил он Венерке, разворачивая на лыжные носки своих лыж.

Лебеди встретили его у порога, но тут же заковыляли в свой угол. Там для них спокойнее и привычнее.

— Оно хорошо, что бродите. Только вот убирать после вас! Да что поделаешь, гулять не будете, силы потеряете.

Венерка растянулась у порога, передними зубами осторожно выкусывала настывшие между пальцами кусочки льда. Насыпав на подоконник зерна, Матвей налил в блюдце воды и выпустил снегиря. Заметив воду, он сделал несколько прыжков к блюдцу, сунул лакированный клюв в него и стал жадно пить, с каждым глотком запрокидывая назад голову. Затем, выбрав освещенное местечко на подоконнике, снегирь сел на него и спрятал в перышках на спине голову, вновь раздулся, став похожим на румяное яблоко. И опять с каждым вдохом поднимались и опускались крылышки и хвостик. Занимаясь по хозяйству, Матвей долго присматривался, как снегирь поведет себя. Но снегирь просидел более часа, не притронувшись к корму. И тут Матвея осенила догадка:

— Тыфу ты, черт старый! — выругался он. — Совсем из ума выжил: с каких это пор калинники вот так сразу за хлеб да пшеницу берутся. Они же не приучены, на воле же не едят хлеба да пшеницы. Кто им там печет и сеет!

Он быстро набросил полушубок и, проваливаясь по поясу в сугробы, побрел по пустырю, что был сразу за домом. Там темнели в снегу высохшие травы. Матвей собирал их семена прямо ладонями, одновременно сдувая мусор, сломил две-три макушки щирцы и лебеды, прихватил в сенях несколько кистей калины, что припас с осени, и все это высыпал на подоконник.

— Ешь, милый, Снежка!

Нахохленный снегирь сделал несколько вялых прыжков, метнув взгляд темных маслянистых глаз на Матвея, и беззастенчиво начал давить калину. Алые, как перышки его грудки, капли сока стекали с клюва. А скользкие косточки он ловко расщелкивал, медленно и аккуратно выедавая вязкую мякоть.

— Вот тебе и калинник по-нашему, а ест в калине непотребное, — рассуждал, наблюдая, Матвей. — У меня, например, от этих косточек скулы воротит, а ему хоть бы что, ведь вкусно весь в соке — не в косточках. Не зря говорят, что каждому свое: дроздам и свиристелям — мякоть, снегирям — косточки давай. Смешно получается! Еще лучше щеглы: едят семечки чертополоха или репья с аппетитом поедают, других вкусных и не берут. Вот чудачки! Удивительно все как-то устроено, — размышлял он, наблюдая за снегирем.

Потом перевел взгляд в угол: на свежем сене вразвалку лежали лебеды; во всю длину вытянув широкие лапы-водоплавы. Несостоящуюся охоту Матвей продолжил на следующий

день. Обойдя Заячий лог, он направился в осиновый распадок, где Венерка вскоре же подняла беляка. Преследуемого собакой зайца он подкараулил на первом же кругу.

— Ну, молодец, Венерка!— хвалил запалившуюся охотницу Матвей, надевая потяжелевший рюкзак.— Вот еще в город надо сходить, и тогда на Новый год у нас пир будет горой.

Но Венерка уже не слышала хозяина: с громким лаем она мчалась к калиновому залому, подбивающему пихтовый перелесок. Матвей наскоро перезарядил ружье на мелкую дробь, и вскоре парочка рябчиков тоже попала в рюкзак.

— Для порядка елочку не мешало бы. Маленькую, пушистую. Нельзя же нам, жителям леса, без елочки — правильно, Венерка?!

С этими словами Матвей с неотступно следующей за ним Венеркой забрел в густой ельник и в гуще подроста выбрал самую пушистую, чем-то очень похожую на медвежонка.

— Вот так, больше всех, пожалуй, Снежка обрадуется. Тот ему на ней, как в лесу будет. Пусть торжествует, а то немного радости у него.

Припозднились. Лыжня до краев налилась темно-синими тенями при серебристо-золотистом сиянии чистой луны. Воздух стал сухим и колким. Как накрахмаленный, скрипел снег. Добрались до дома, и вскоре березовые сутунки, отдавая тепло и щедрость солнца, которую они впитали на корню своего дерева, сухо перестреливались в печи, подле которой, вытянув уставшие ноги, молча сидел Матвей. Он затягивался дымом из чубука. Покурил, не спеша вычистил табачный нагар. Постучал чубуком по широкому ногтю, спичкой выскреб никотин и подготовленную к следующему перекуру трубку спрятал в кисет.

### Новогодняя ночь

В это утро, как всегда, встал Матвей затемно.

— Не мельтеши! Ляг на место! Никакой охоты! Новый год встречать будем сегодня,— одернул он Венерку, она опять готова была идти на охоту.

Матвей зажег лампу. Настругал от березовой чурки тонких щепок, аккуратно крест-накрест сложил на колосник и только потом стал укладывать поленья, чтобы впустить в печку огонь. Затем принес из сеней скрученной бересты. Она в каждом доме бывает: для поделок разных и вообще в домашнем хозяйстве — вещь необходимая. Принес шишек, сучков да мелких коряг, приготовленных с осени. И нехитрым инструментом принялся делать игрушки — из бересты вырезал фигурки зверюшек.

Еловые и сосновые шишки преображались в забавных безымянных птиц и симпатичных совушек. В руках его получались кудлатые пудели, причудливые рыбки, и, наконец, два белоберезовых лебедя. Вырезал их Матвей с поразительным знанием и сноровкой, ловко и быстро. Словно всю жизнь только то и делал, что вырезал игрушки. Но натруженные руки его говорили о другом: хозяину их пришлось несладко, жизнь он провел в тяжелом труде.

Смастерив игрушки, Матвей принес из сарая подопревший пень березы. Долго колдовал над ним, пока не получился из него березовый Дед Мороз: он был одет в белую берестяную шубу, с такими же усами и бородой, в такой же шапочке, отороченной мохнатыми еловыми веточками.

Елочку Матвей поставил в светлый угол, у окна, в ведро с водой. Так он поступал и раньше: распутившееся деревце обрастет корешками. В ведро он постепенно подсыпал песок, и елочка укоренялась. С первым теплом такие деревца высаживал. Получается, что всю зиму елочка-иглолочка свежа, в комнате лечебный аромат хвойного леса. И после Нового года не выбрасывалась на свалку, как это делается в городах.

Елочка наряжена. Игрушки развешены на места. Ожерелья из ягод калины и рябины придавали ей особую, лесную прелесть и нежность. Но самым лучшим украшением оказался Снежка. Он тут же ее приглядел и красным шаром сел на самую макушку. Остаток дня он вертелся на ней, тихо высвистывая задумчивые снегириныные мелодии. Снегирь торжествовал, ведь елочка оказалась для него единственным напоминанием о жизни в лесу. Она была кусочком тайги, для которой он создан. Он то и дело перепархивал по веткам, тянулся к ягодам, и при каждом взмахе его темных крылышек игрушки словно оживали. Они шевелились: плясали березовые зайцы, и, как на воде, качались лебеди; словно в смехе, тряслись чертики из сучков и коряг, такие же смешные человечки; будто в колдовском танце крутились пучеглазые и головастые соята.

Наступили ранние зимние сумерки. В домике среди темной тайги на краю замороженного безмолвного озера сиротливо горел одинокий огонек. Казалось, что везде на земле только снег: кругом бескрайние снежные просторы, объятые морозной тишиной и покоем. Впервые за последние десятки лет Матвей с искренним восторгом смотрел на елочку, на снегиря, и они, не ведая того сами, уводили память его в давно минувшие годы, в годы детства. «Были они или нет?» — думал он. Может, этот снегирь, птица детской мечты и радости, навевал воспоминания, печалила мысль о том, что сейчас там, в городе, под Новый год так и не дождались деда своего его внучата.

— Скучают поди, ждать еще будут?— думал Матвей, пуская самосадный дым в поддувало раскрасневшейся печи.

Заметно волновалась Венерка. Ей не давал покоя запах тушеной дичины, приготовленной Матвеем. Не в силах унять свою страсть к лакомству, она крутилась около него, подхалимски заглядывая в глаза, чтобы он хоть как-то обратил внимание и угостил ее. Угадав желание собаки, Матвей ласково поругивал:

— Ишь, шельма, политику твою знаю, слюну-то вон как пускаешь, якорь ты задери, нос твой собачий!

Колкой стужей дышала последняя декабрьская ночь. Оттаявшие за день окна затянулись шубой ворсистой изморози. И опять, может, эта елочка, а может, заиндедевские окна встречали у него воспоминания откатившегося навсегда детства. Они, деревенские ребяташки, такими же вечерами толкались у окошка, рассматривали морозные узоры. По рассказам взрослых, получалось, что рисовал их Дед Мороз, который почему-то всегда приходил и уходил незамеченным. Вспоминалась вечно занятая домашней работой мать. Перед глазами — печь в родительском доме, теплая и приветливая. В предновогоднюю ночь в избе пахло густым духом калиновых и черемуховых пирогов, пьянящим ароматом пухлых шанежек да свеженпеченного хлеба, заведенного на опаре. По таким же узорам на стеклах они чертили ногтями. Дышали на них ртом, прижав вплотную губы, или выгревали пальцами на куржаке светлые дырки, в которые потом смотрели на улицу. Неужели это все было?

Время от времени Матвей посматривал на мерно отстукивающие ходики. Они сейчас будто нарочно замедлили свой ход на пути к двенадцати.

— Ну, что, дорогие мои, пора и к празднику подготовиться!

Матвей подошел к старинному обшитому жестяными полосками сундуку, откинул крышку, изнутри сплошь оклеенную разноцветными старинными купюрами, конфетными обертками, исписанными витиеватыми и замысловатыми буквами. С крышки жестяной баночки из-под леденцов, в которой хранили пуговицы, как и встарь, на него смотрели все такие же молодые розовощекие девицы. Только крестастые и хвостастые буквы «ер» и «ять» в конце слов казались уже непревычными. Матвей достал и надел праздничную льняную косоворотку, вышитую на груди. Подошел к зеркалу, кое-как застегнул ворот. Пальцы плохо слушались. Поверх рубахи затянул красного шелка кушак. Завернул вокруг икр полосатые, стариковской расцветки брюки, легко втокнул ноги в валенки. Старым жел-

тым роговым гребнем причесался на пробор. Расчесал и пригладил бороду и только потом сел за накрытый вышитой скатертью стол, положив перед собой большие натруженные руки.

— Он словно ждал, что вот сейчас появится его Дуняша и, как прежде, станет хлопотать вокруг праздничного стола в ожидании гостей. Нет, не хлопнула дверь. Никто ему ничего не сказал. Только мерно потрескивали в печи поленья, шелестели крыльями охорашивающиеся лебеди. Матвей сидел молча, словно прислушиваясь к самому себе, к своим мыслям. Что это у него сегодня на душе? Или чувство легкой утраты, связанное обычно с уходящим годом, или тревожит новое, неизвестное, или это приглушенная годами боль заново всколыхнулась? Жизнь прожита, а что впереди — неизвестно...

Срываясь, словно бьющаяся муха в старой паучьей сети, шло и гнусаво зашумел вскипевший и захлебывающийся чайник. Жестко выговаривали свое зауценное наизусть ходики: так-так-так... И сейчас Матвею казалось, что они подслушали мысли его и теперь вслух соглашались.

— Ну, что, якорь вас задери! — встряхнулся он от нахлынувших воспоминаний. — Времени-то, всего ничего осталось. Пора!

Он достал припасенные для такого — случая свечи. Расставил и зажег их по всем углам и предельшкам. Изба налилась ярким мерцающим светом, наполнилась тихим потрескиванием оползающего воска и шипением огня. Вокруг стола Матвей поставил скамейки. Налил в чашку сладковатого калинового сока, набросал в него крошек и водрузил на скамейку лебедей. Птицы не сопротивлялись, только им непонятно было, что хочет от них человек. И поэтому они беспокойно озирались, глазели на свечи, окрашенные лепестками огня, и вслушивались в вкрадчивые слова Матвея, который все что-то говорил своим успокаивающим голосом. Около себя на пол он пододвинул Венеркину чашку, да краев наполненную жарким. Тушенная зайчатина источала такой аромат, что собака ни на миг не отходила от чашки. Но Матвей наказал не прикасаться к пище, пока не подошло время.

Остались последние минуты уходящего года. Матвей вышел на крыльцо: темно-синий бархат неба был густо усыпан гроздьями звезд, мигающих длинными огнистыми ресницами. Ему живо представилось, что будто вчера еще здесь стояло село, виделись рубленые дома, окруженные плетнями и ребристыми заборами, за ними, у темнеющих стогов и амбаров, хрумкали сено лошади и коровы, да изредка взлаивали собаки. Вспомнились подгулявшие односельчане, выводившие под гармошку раздольные песни. И вот на тебе — никого. Только фосфоресцирующее звездами небо, отчужденность и тишина. Матвей взгля-

нул на взгорок, где мрачно темцело забитое снегом кладбище, перекрестился и вошел в избу.

Лебеди по-прежнему сидели на скамейке. Положив голову на передние лапы, тут же, у чашки, страдала Венерка. На макушке елочки надутым шариком краснел Снежка. Размеренно, как будто маятнику в такт, двигались его крылышки и разрезанный надвое хвост.

Стрелка часов замерла около двенадцати. Матвей поставил на стол зеленую четвертинку. Светлой шипящей медовой наполнил и поднял бокал. И спокойно, расставляя слова, заговорил:

— Вы бессловесны, поэтому я, как и полагается, говорить буду тост,— обращался Матвей к лебедям, которые сейчас, подобно статуям из белоснежного мрамора, неподвижно и даже слегка насупившись, изогнув свои шеи, стояли, прислонившись друг к дружке. Глаза их были спокойны. Темные, словно выточенные из черного дерева клювы, увенчанные на лбу темными дутыми набалдашинами, еще больше подчеркивали белизну их перьев.

— Я хочу выпить прежде всего за всех нас: за вас, Матушка и Глаголь, за себя, старого Матвея, за тебя, Венерка, тоже и за Снежку.

Гигантские тени лебедей в свете свечей дрожали на стенах. Венерка больше всех проявляла нетерпение. Она слушала вполуха и вполглаза смотрела на жаркое, так пленяющее ее, и поэтому почти по-человечески тяжело вздыхала, нервно зевала, сопровождая зевки протяжными — а-а-ах!

— Так вот,— продолжал Матвей,— за нашу дружбу! Главное — за верность, из-за которой мы все здесь сегодня проводим старый и встречаем вместе этот новый год. За верность на земле! За лебединую верность!

Матвей нахмурил серые брови, глянул в заоконную тьму, туда, где на пригорке, облитом стужей и тишиной, утопали в сугробах кресты. И, набрав полную грудь воздуха, перевел дыхание:

— За верность, дорогие! С Новым годом!

По русскому обычаю он брякнул бокалом о зеленое стекло четвертинки и одним духом осушил его. Обтер усы, огладил бороду.

— Угощайтесь, Матушка да Глаголь, ешь, милая Венерка!

Венерка только этого и ждала, без особого приглашения она, накручивая хвостом и чавкая, стала выхватывать поначалу мясное, а уж только потом — картофель.

— Собаки всегда так,— наблюдая, думал Матвей,— съедают в первую очередь лакомое, а уж потом менее вкусное.

Отполировав языком до блеска чашку, она угодливо села, не унимая хвоста и не спуская глаз с хозяина. Молча и по-прежнему насупившись, сидели лебеди, прислонившись друг к другу, будто глубоко задумались над словами, которые сказал сейчас Матвей. Матвей протянул им куски хлеба, смоченные в разведенном калиновом соке. Понравилось. И, подобно белым рукам, потянулись к нему шею. Матвей придвинул им чашку.

— Ешьте да поправляйтесь. Чтобы в новом году Матушка на крылья стала, а то такое дело не годится нам. А ты, старина Глаголь, вообще молодец! Настоящий ей друг! Ну, что тебе еще?— обратился он к Венерке!— Пожалуйста, душа твоя собачая!— и снова до краев наполнил ей чашку.

Время за полночь. Тихи и недвижны в углу на соломе Матушка и Глаголь. Явно переевшая Венерка, выставив живот, растянулась у самого порога, там было прохладно, на сытый желудок крепко спалось. Долго еще сидел, подперев кулаком отяжелевшую голову, Матвей. Он хмурил брови и, прикрыв глаза, все что-то бормотал, чуть заметно шевеля губами. Дружно догорали, шипя и потрескивая, свечи, разливая текучий воск, и в глубоком полуночном сне шевелился хвостик у снегиря, сидевшего на самой макушке наряженной елочки.

## Пробуждение

Короткие зимние дни сменялись длинными ночами. Только и перемен: мороз уступал место вьюге, многодневные бураны уступали место морозу и солнцу. После длительной непогоды солнце, казалось, с особым пристрастием высвечивало таежный лес, припудренный пухом легковесного инея и кристальной мишурой куржака. Матвей всю зиму опекал голодавших пичуг, и они постоянно вились подле его окна. За это время ево всем свыкся Снежка. Целыми днями, как только солнце, позолотив окна, просачивалось в избу, он распевал свою тихую и немного грустную песенку. Это была простенькая песенка зимы, но пелась она о весне. Матвей с нетерпением ждал тепла. Ждал еще одной своей поздней весны. Он часто ходил в город навестить внуков и за продуктами. Но еще чаще бывал с Венеркой в лесу. И после лесных дней у него подолгу в ушах стоял глухой напев оседающего февральского снега. Дымились перед глазами синие таежные дали и стелились полосатые снега в насквозь прошитых солнцем осиновых да березовых перелесках. Волновали сердце старого охотника и разъеденные солнцем вязи звериных следов.

Матвей выходил на крыльцо подышать мартовским воздухом и еще раз порадоваться тому, как крепко слежавшийся шероховатый снег комьями срывался и ухал с пихтовых лап. И одна за другой на глазах они облегченно расправлялись. Деревья шевелились. Лес оживал, поднимая оцепеневшие и занемевшие за зиму замороженные суставы своих ветвей. Еще бойчее стали перезваниваться синицы. Ровные ряды сосулек дружно вырастали и сверкали под карнизом деревянной крыши лесного жилья, истекая в полдень жемчужной капелью. С повеселевшим солнцем и перезвоном синиц зачастили к дому, вездесущие нахальные сойки. Они целыми днями истерично кричали и, натопорщив роскошные рыжие хохлы, гонялись друг за другом, демонстрируя ловкость и маневренность полета, либо мягкокрыло перепархивая по ветвям, осматривали их для будущих гнездовий, проголодавшись, ныряли к основанию стволов, где легче отыскивать корм. На соседней поляне, окруженной пихтачом, появились следы от глухариних крыльев.

— Ну вот и глухари запузырелись,— весело сказал Матвей Венерке, когда они впервые увидели росчерки их крыльев на поляне.— Весна началась!

И с каждым днем солнце смелее топало снега, выпаривало первые проталины. А как только появились подснежники, Матвей, как всегда, ранний букетик их унес на могилу Дуняши. И пошло: потом прошумели первые дожди, обрадовали первые скворцы, закучерявилась дымка берез и осин, прокуковала первая кукушка, зазвенел соловей и много еще чего, что бывает впервые после долгой зимы под морем солнца и тепла на лесных просторах.

Вот утром Матвей вышел из дому, держа в ладонях Снежку. Снегирию не нравилось, что его так бесцеремонно зажали в теплые ладони: он кусался широким блестящим клювом, пугливо выкатывал темные круглые глаза. Ладони раскрылись, снегирь снялся и сел на березу, отряхнув слегка помятые перья. Несколько раз фитькнул и стрелой нырнул под пихтачи, перемешанные с сединой голых осин и покрашенных краснотой проснувшихся берез.

— Бог с тобой, милая пташка! Прощай, Снежка!— помаhal ему вслед теплой широкой рукой Матвей.

## На озере

На озере лед продержался до мая. Волновался Матвей, когда выпускал лебедей на свободу.

— Улетят не улетят?— одолевало сомнение.

Лебеди, оказавшись на берегу, спокойно, как будто всегда так ходили, направились к озеру. Они разом легли грудью на воду и, оглядываясь, медленно отплыли от берега. Вернулись только под вечер и также спокойно в открытые двери, в свой угол. Матвей доволен. Еще более радовало его, что развязал себе руки.

— Теперь сами будут кормиться.

Природа брала свое: вскоре птицы перестали почевать в домике и круглыми сутками пропадали на озере. Лишь иногда в ранние часы приходили к его домику. Матвей насыпал зерна, много с ними разговаривал. Насытившись, важные, преисполненные достоинства, слегка раскачиваясь, они снова брели к воде. И все чаще и чаще наблюдал Матвей, как разбежавшись Глаголь набирал высоту и, разрезая огромными крыльями надозерную синь, кружил над лесом, над лебединой, а она, разбежавшись и едва оторвавшись от воды, заметно припадая на бок, тут же опускалась и еще долго безуспешно шлепала по воде, помогая крыльями, и не могла никак следовать за своим лебедем. Полеты обычно заканчивались тем, что они начинали взволнованно «переговариваться», пока Глаголь не возвращался.

Заметно было Матвею и другое, что с каждым днем все чаще после воздушных реверансов самец демонстративно плавал перед лебединой: ставил горбом крылья, топорщил на них перья и, словно под белыми парусами, подгоняемыми ветром любви, подобный бутону гигантской розы, кружил около, лихо изогнув шею. Напротив, она в это время держалась прямо, поднимала и опускала гордо посаженную головку. При этом как бы делала вид, что ей ухаживания его ни к чему, и с осанкой, присущей красивой даме, не утратив достоинства, плыла в сторону от Глаголя. Он настойчиво следовал, демонстрируя свое роскошное оперение. Разрезая лоно вод, они вдруг разом сближались, в поклонах опускали и согласованно поднимали головы, белыми гибкими руками сплетались в объятиях их зыбкие шеи. В пылу нежности Глаголь издавал глуховатые звуки. В ответ, зазывая, она покорно гнула шею и негромко циркала. Тогда, словно от избытка страсти и любовного пыла, Глаголь разбежался по озеру, увлекая криком за собой Матушку. В тонкой тишине этого лесного угла слышно было, как в полете сухо скрипят под напором полета перья их белоснежных крыльев. Но лебедиха, обессилев от шлепанья по воде и коротких взлетов, падала, нервозно кружилась на месте и принималась звать Глаголя.

Часто подолгу засиживался Матвей у опрокинутой лодки, наблюдая любовные игры лебедей в брачную пору. Уверовал

он и в то, что они обязательно будут гнездиться. Больше всего нравилось сидеть ему по вечерам, в час солнцезахода. Подобно двум гигантским лилиям, подпаленным отсветами закатного пожара, лебеди наслаждались свободой и тем вечным покоем мудрой природы, для которого они созданы ей.

Вскоре Матвей заметил, что они пытаются строить гнездо в заломах зыбкого кочкарника. Лебеди собирали со дна и вокруг стебли рогаза, корешки, носили их туда. В тот же день Матвей наспех сколотил жердяной плотик. Обложил его кусками торфа, чтобы больше походил на настоящий островок и отбуксировал к зарослям. Привязал его и замаскировал, набросав поверх стеблей и прошлогодней травы. Это сооружение лебеди приняли и тут же охотно выбрались на него, на следующий день приступили к постройке гнезда. Теперь большую часть времени они проводили подле островка, не прекращая любовных игр. Еще некоторое время лебедиха усиленно кормилась и вскоре плотно села на гнездо.

Матвей видел, как Глаголь, насторожившись, кругами плавал вокруг заветного островка и каждый раз, заметив в небе хищную птицу, беспокойно кружил, издавая свое грозное, похожее на полурычание — «коррр!» Либо подолгу стоял подле гнезда с насиживающей лебедихой, охраняя ее покой.

Однажды Матвей решился: он поплыл к гнезду. Разгадав его намерения, Глаголь тут же выплыл навстречу и, сблизившись с лодкой, поднялся на лапы, буя им воду и загораживая ему путь. Стоял он, широко расставив крылья, подобно борцу, приготовившемуся к схватке. Голос тревоги и гнева сотрясал его грудь и шею. Ядовитое грозное шипение ползло из раскрытого клюва. Прижав к гнезду шею, среди плоской кучи сидела Матушка. Она словно выросла и немигающим глазом следила за Матвеем.

— Вот и прекрасно! Молодцы! — тихо, растягивая слова, говорил он.

А Глаголь, встав на лапы и глухо шипя, делал вид, что нападает, но ни разу не коснулся даже его руки. Лебедиха тоже зашипела, когда почувствовала, что рука Матвея осторожно скользнула ей под брюхо. Матвей прекрасно знал, что не следовало бы тревожить птиц, но не мог отказать себе: ему было нужно удостовериться, что лебеди действительно выпаривают птенцов. И как только ощутил тепло яиц под пушистым брюхом лебедихи, то радостно, как мальчишка. В эти минуты ему страшно хотелось с кем-нибудь поделиться своей радостью.

— Вот так старый Матвей, сумел поддержать и приручить таких чудных птиц, как лебеди. Раньше видеть-то приходилось их только вдали и то редко. А тут на тебе: лебеди около его

дома. Редкость-то какая!— рассуждал, торжествуя, он.— Ждать «поворожденных» остается...

Потянулись для Матвея томительные дни ожидания птенцов. Каждое утро он выходил к берегу и смотрел, все ли в порядке. Так прошел май, и только в начале июня, не веря глазам, Матвей увидел, как около зарослей на мелководье разом высыпали семь серовато-светлых пуховичков. Гордо изогнув шею, следом скользили Глаголь и Матушка.

— С новорожденными, дорогие!— крикнул глуховатым голосом Матвей.

С этого дня еще больший интерес у него вызывали наблюдения за лебедями. Интереснее было видеть, как малыши и родители кормились и отдыхали на отмелях. Старые, обычно погрузив глубоко голову и грудь в воду, вставали торчком, поддерживая равновесие лапами. Они доставали со дна растения и тут же бросали на воду птенцам. Ватага плюшевых лебедят дружно набрасывалась на добытый корм и, лопотя темными клювами, выедала ростки и мелкие листочки. Вечером они неизменно выбирались на плот: там ночевали. Часто отдыхали и днем. Недели через две птенцы заметно подросли. Однажды утром Матвей был приятно удивлен: вся лебединая семья стояла у его порога. Впереди, выпятив грудь, шипя, встретил его Глаголь. Птенцы, напугавшись было, кинулись к Матушке, стараясь спрятаться за нее, чтобы быть подальше от этого страшного двуногого великана.

— Милости просим!— развел руками Матвей.— Давно ждали вас, пожалуйста!

Он вынес зерна и рассыпал его перед новоиспеченной семьей. А чтобы птенцы не страшились, отошел и сел на крыльцо, уложив около себя Венерку. Лебеди есть не стали. Они молча развернулись и, медленно покачиваясь, пошли к берегу.

— Удивительно, неужели так просто приходили меня попроведовать, а может, семью хотели показать? Вот умницы! А красота какая — взрослые и малыши! Вот ведь люди! Рука поднимается на такое чудо! Похоже поднимается,— рассуждал Матвей.— Вон сколько в городе дамочек разных, все шляпки да воротники из лебяжьего пуха. Казалось бы, стыдиться надо носить лебединые шапочки, а они напоказ — вот, мол, посмотрите... тьфу! Так думается, что в жизни им ни разу не приходилось видеть такой вот живой и свежей красоты. Все эти моды пройдут,— рассуждал мрачно Матвей, глядя на отплывающую лебединую семью,— а вот если лебедей не станет, тогда люди потеряют не просто их, лебедей, а частицу

своей души, красоты и совести. Понятно одно: озера, тайга, небо, земля наша — терпеливица — и мы обедаем.

Такие мысли одолевали Матвея при виде того, как лебединая семья в полной безмятежности режет зеркальное ложе озерной воды.

Не раз еще приходили эти белоснежные птицы к приветливому лесному домику. Шумели громовые летние ливни и дожди, много волнующих вечеров провел Матвей на берегу у озера, провожая вечерние зори. За это долгое время успела откуковать последняя кукушка и поутихнуть сумеречный комариный перегул. Тоскливое куличье песнопение, которые первыми покидают еще теплые разливы озер и рек, простреливало теперь оседающую на ночь тишину, этот забытый людьми уголок, где жил одинокий, старый человек с добрым сердцем.

### Расставание

Подкрадывалась невидимая осень. Подобно сказочной желтоглазой птице, зло косила она оком на остывающие дали, махала крыльями непогоды и дышала первыми холодами. Ночные заморозки отжелтили зеленые осочные луговины. Поникли набрякшие колосья житняка и лисохвостые метелки полевицы. Скупее просачивалось низкое солнце сквозь синюю сентябрьскую дымку, и серебристым пухом вспыхивали лесные просеки, заросшие перезревшим, закурдявившимся кипреем.

Молодые лебеди в это время от старых отличались только невзрачной окраской пера.

— И вправде сказать, — глядя на них думал Матвей, — лебединые «золушки».

Они были серые, словно перо их присыпано золой и бито ржавчиной. Но теперь у дома Матвея обычно кормилась целая стая. И что бы он ни делал, обязательно разогнет усталую спину и подолгу смотрит. Он гордился, что семья эта — дело долгой его заботы, и от сознания того, что он здесь всему голова, был по-своему счастлив. Однако каждый раз с тревогой наблюдал Матвей, когда стая, переговариваясь, дружно пускалась в разбег и, взбуривая воду, поднималась над озером, чтобы лишний раз размять и укрепить крылья. Только Матушка, с трудом поднявшись и немного пролетев, тут же опускалась и тревожно металась, поднимая стреляные крылья. Затем снова разбегалась и, одолев минуточку-другую полета, опять опускалась и с тоской смотрела на семью, ведомую Глаголем, которая в глубоком остывшем небе плыла над задумчивой лесной водой.

— Неужели не сможет летать? — не раз мучил себя вопро-

сом Матвей, хотя и надеялся, видя, как с каждым взлетом поднималась она все выше. Значит сила крыльев ее понемногу росла.

Но как быть, когда осень у порога и стремление к полетам заметно росло. По утрам вдруг разом взлетали, кругами уходили ввысь и таяли в надтаежной осенней дымке. И опять целыми днями Матвея тяготила мысль — вернутся ли они к озеру, где их, волнуясь, ждет одинокая мать — лебедиха. Однако к вечеру семья неизменно возвращалась.

Однажды над озером объявилась небольшая стая чужих лебедей. Они сделали несколько кругов, не решаясь сесть, и только потом стали снижаться. Матвей крепко схватил за ошейник Венерку, чтобы не пугнула чужаков. Высвистывая и поскрипывая крыльями, птицы совсем низко прошли над уже облетевшей осиновою рощей, над сумрачным заслоном пихтача, над домиком, стоявшим под голой березой, и Матвеем, сидевшим на опрокинутой лодке, над отражением облаков, затонувшим в озере, и, широко разбросив темные лапы, взбуривая перед собой водную гладь, величаво осели, рассыпавшись на середине Дальнего плеса. Несколько минут настороженно осматривались и уже потом, сплываясь, стали сужать круг.

Навстречу чужим первым подплыл Глаголь и только потом, приветствуя «гостей» поклонами и потрясыванием хвостов, — остальные. До боли в глазах вглядывался Матвей, чтобы не потерять из виду своих. Но где там, белоснежные, до капли похожие друг на друга птицы сразу же перемешались. Только хорошо выделялись среди остальных молодые. Вскоре стая, расплывшись по мелководьям, принялась кормиться. Они погружали и вытягивали из воды длинные гнутые шеи, и с их темных клювов падали на воду капли. Остаток дня усиленно кормились все вместе, готовясь к дальнему перелету. Ближе к сумеркам рассыпанная стая стеклась к середине озера, где безопаснее, и дружно принялась чистить и мыть перья. Потом успокоилась. Матвеем подумалось: они совещаются о чем-то своем.

Стемнело. Усталой стариковской походкой, погруженный в невеселые мысли Матвей брел к дому, который приветливо смотрел стеклами своих окон в вечернюю даль — на черные мазки хвойного леса, на серые полушалки сосновых перелесков и на лебединою стаю, совещавшуюся на середине озера перед трудным перелетом.

Не зажигая лампы, Матвей прилег на свой шаткий топчан. Тревожные мысли и ожидание неизвестного не давали покоя. И о чем бы он ни думал, мысли его снова и снова возвращались к одному и тому же — улетят или нет? Ночь за окном

налилась до черноты. Что-то беспокойное, незримое зрело в ее непроглядной холодной тьме. Вдруг Венерка резко встала, зацокала когтями по полу. Около дверей она насторожилась, вслушиваясь. Матвей зажег лампу. Шерсть на загривке собаки дыбилась. Хвост свесился, и грозное рычание проползло по избе. Затем она вдруг завиляла хвостом, стала скрести и повизгивать.

— Кто это к нам, в такое время?— встревожился Матвей.

А Венерка еще сильнее скребла, ласково вертела хвостом и повизгивала.

— Похоже, своих кого-то признала!— он толкнул дверь.

На крыльце, у порога, в кромешной тьме, словно обернутые в белые простыни, стояли Матушка и Глаголь. Ошеломленный Матвей не сразу понял, что случилось и почему они пришли. Он постоял, вслушиваясь в тревожный шепот деревьев и мерный всплеск озерной волны, пока не убедился, что все на ночном озере в порядке.

— Давайте в избу, милые Глаголь и Матушка,— ласково заговорил Матвей.— Все-таки пришли, домой пришли, опять к старому Матвею.

Он пропустил их вперед себя. Зашлепали лапами по деревянному полу в свой угол. А он, довольный, все ласково говорил, гладил их мягкие перья. Опять что-то говорил и опять гладил. Переминаясь с лапы на лапу, лебеди посвистывали носами, будто в чем-то провинились перед ним и теперь пришли за прощением. Матвей, приговаривая, сел около и осторожно, словно трсгал спящего ребенка, гладил их спины, шеи.

— Неужто мне опять с вами зиму зимовать? Родные мои!

И гладил, гладил их своей шершавой, теплой рукой.

Утро постучалось в окно озябшей синицей. Раскачивалась, кланяясь непогоде, стоявшая за окном береза. Как маленьким коготком, кончиком веточки она осторожно стучала по запотевшему стеклу. Свинцовое, завешенное драными взъерошенными тучами небо склонилось над самым лесом.

— Да-да! Похоже, снег пойдет. Что делать-то, Венерка?— говорил Матвей, выйдя на крыльцо.

Покачиваясь из стороны в сторону, будто землю качало от ветра, вышли лебеди. Также молча они направились к мутно-серому перемешанному ветром озеру, на котором белыми клочками пены вскидывало оставшуюся лебединую стаю. Взметнув крыльями и лапами взбивая воду под собой, Глаголь и Матушка помчались к своим. Матвей видел, как они встретились. Но они не кормились, хотя и пора бы, а только сплывались и расходились. И вдруг грянул раскатистый крик. Вспоров ненастное небо, крик встревожил стаю и ранил сердце Матвея.

— Ну чего вы, милые? Давайте же, летите,— глухо, про себя шептал он.

Стая заволновалась сильнее. Наморщилось от прихлынувшего ветра озеро. Закрутились над водой последние листья. И вдруг разом взорвались лебединые крылья. Пробороздив воду, стая дружно поднялась и стала быстро набирать высоту. Только одна из птиц заметно отставала, вскоре вовсе отстала. Сделав полукруг над озером, она вернулась на воду. Сжалось от боли сердце Матвея — не смогла!

Стая дружно пошла в обход приозерной тайги. В глаза Матвею бросилось, что там непорядок: сбиваясь, лебеди пытались выстроиться в нужную линию, но тут же перемешивались. А летящий впереди них все заворачивал к озеру. Но вскоре стая выправилась в гибкую линию и устремилась к югу. Медленно уменьшаясь, она таяла в надтаежном просторе, пока вовсе не скрылась.

С глубоким разочарованием, с надсадой созерцал эту грустную картину Матвей.

— Все — одна! Совсем одна!

Словно окаменев, стоял он одиноко на неприветливом в этот час берегу и печальными глазами смотрел в опустевшее небо. А Матушка (это была она) нервно кружилась на середине озера, не находила себе места: плыла то в одну, то в другую сторону, стараясь увидеть дорогую ей стаю, но все напрасно.

— Вот так, Венерка. Не смогла улететь Матушка. Боль не прошла. Что делать-то будем?

И вдруг Матвей увидел, как вдали над ропщущим лесом появилось светлое машущее пятно. Он протер слезившиеся глаза. Да, это летел он, Глаголь. Лебедь быстро терял высоту, но, едва не коснувшись воды, вновь стал подниматься. Волнение лебедихи росло — ей хотелось немедленно подняться в воздух и лететь. Глаголь, снизившись над озером, чуть не коснулся своей подруги, тут же легко взмыл и пошел вдоль берега. Словно он успел в этот миг шепнуть ей такое, что глубоко ранило ее сердце, разбудило в ней волю. Скорее всего звал ее в далекое путешествие за высокие горы, туда, куда тысячелетиями улетали на зиму их предки, туда, куда вечно, пока на земле будут жить лебеди, они будут летать. Собрав всю волю и вскипевшую страсть, лебедиха вновь вскинула простреленные крылья. Было заметно, что она поначалу все так же неуверенно, все так же чуть припадая на крыло, поднялась над лесом, но, поддавшись властному зову, переборолла в себе неуверенность, боль и успешно взлетела в серое небо.

— Господи, помоги ей! — шептал Матвей. — Давай, милая, не подведи!

Глаголь развернулся, обошел высокий круг и стал нагонять лебедиху. Вот Матвей уже видит: лебедь идет следом на расстоянии вытянутой, как струна, шеи, крыло — в крыло, взмах — в взмах. И, словно воодушевленная, Матушка легко работала крыльями.

— Ну, вот и порядок, якорь вас задери! — выдохнул повеселевший Матвей. — Ушла, смогла! Я же говорил, что улетит. Вот видишь, Венерка, все как надо. Все обошлось!

Белыми голубями виднелась счастливая, верная пара птиц в ветреной мутной дали. Матвей напряг зрение, сощурился серые глаза. Теперь он видел, что лебеди летели назад, к озеру. Низким кругом, ровно и чисто вернувшиеся Глаголь и Матушка прошли над водой, над домиком, в котором нашли в свое время тепло человеческое, и теперь, скрипя перьями, низко высвистывая белыми тонко точенными крыльями, пролетали над Матвеем, стоящим на берегу с Венеркой. Боясь потерять их, Матвей, по-мальчишески задрал голову, следил. Завершив прощальный круг, лебеди стали удаляться. Молча и подавленно Матвей махал им вслед, не спуская с них глаз. С каждой секундой они уменьшались, терялись и опять едва заметно белели в сером неприветливом небе и вскоре потерялись совсем. Они ушли в ту же сторону, куда улетела стая.

Небо вовсе нахмурилось и посерело в глазах Матвея. Он долго стоял и глядел, думая о чем-то уже своем. Взгляд его невольно привлекло одинокое перышко, оброненное лебедями. Плавными кругами опускалось оно на свинцовую воду. Трудно сказать, о чем думал старый человек, глядя на это одинокое белое, как осколок зимы, перышко. Может, в нем он узнал самого себя. Такого же одинокого и такого же чистого. Это было все, что осталось в память о благородных птицах, наделенных величайшим чувством верности. Перышко, едва коснувшись воды, бестолково закружилось на месте. Сейчас оно напоминало Матвею Матушку. Она так же металась, отстав от своей стаи. Невесомым парусом перышко, влекомое ветром, удалялось от берега.

— Даже это никому не нужное перышко и то тянется к ветру, оно послушно ему, такое же, как и сами птицы! — рассуждал Матвей.

Это маленькое белое чудо вскоре тоже затерялось среди мелких зыбких волн. И не сразу заметил Матвей, что на его голову такими же невесомыми лебедиными перьями падает первый снег. С каждой минутой снежинок прибывало. Даль меркла за густым белым сплошным войлоком. Небо совсем

посерею. Начался буря. За его зыбкой занавесью утонул лес, исчезло озеро. Хлопья лепешками ложились на смолистые бока лодки, крупными каплями оборачивались на его иссеченных венами руках. Они обклеивали голову и широкую бороду. Счастливая Венерка по-собачьи радовалась первому снегу.

— Ну, что, теперь и нам пора, — тихо обратился к ней Матвей.

Ссутулившись, он направился к дому, что печально смотрел сквозь залипшие окна на первый снегопад.

— Завтра же едем в город!

## Алые зори

### Слушая тишину

В сопках, пересыпанных скалами, подступивших к Иртышу, распустились пионы, буйствовали заросли черемухи. Жизнь торжествовала повсюду. В эту пору, наверное, каждому приходит желание оставить все городские заботы и уйти на свидание с природой.

Я, например, хочу увидеть что-либо интересное, куда-то идти. Но в эту весну мне захотелось послушать тишину.

Устроился на выступе скалы: вокруг зелеными волнами бугрились черемуховые перелески. Где-то журчал ручей.

Около меня рассыпаны камни. Их веками роняла полуразрушенная скала. Среди камней стояли витые, как рога винторогого козла-махора, листья алтайских эремуросов. На самой скале росли шишкастые и чешуйчатые горкоколенники, которых у нас называют просто «репками». Но самое интересное, что я увидел — это вспышки синих, зеленых, фиолетовых, просто светлых блесков. Тоненькими слепящими стрелками били они по глазам. Это играли с солнцем капельки утренней росы, застрявшие в зеленых ладошках пальчатых листьев уже отцветшей леонтицы. Стоит лишь повернуть глаза в сторону, и синие огоньки становятся зелеными или оранжевыми, а «слепые», негорящие капельки вдруг начинают колотиться светом.

— Нет, — думаю, — не зря я сижу здесь на месте, интересно!

И тут обнаруживаю, что я не одинок: из-за камушка на меня смотрит глаз, как будто сам по себе живет в траве; темный в оправе из травянистого цвета чешуек. В центре его жемчужинкой горела такая же, как и вокруг, росинка.

Кому же он принадлежит? Подожду, сам покажется. Гадать недолго пришлось: вскоре выполз ярко-изумрудный самец

прыткой ящерицы. Он оперся зелеными лапками на камень, сидит и длинным раздвоенным языком облизывает изумительно умные глаза — умывается, значит. Светлячок, спрятанный в его глазу, смотрит на меня. В нем, когда присмотрелся, увидел себя. Да такого маленького, не больше макового семени. Тоже интересно!

Слышу, гудит, надывается кто-то, как заведенный. Повернулся, а меж камней, в паутинной сети муха рвется, освободиться хочет от паучьих пут. Муха так работает крыльями, что их не видно. Трясется воздушная ловушка, и вот уже из своего охотничьего шалаша паук на полусогнутых лапах спешит к желанной добыче. Почуяла она, что конец приходит, еще сильнее рвется изо всех сил. Дрожат паутинки-захватчицы и не поймешь, кто — или муха гудит толстой медной струной — у-у-у, или паутина басит.

Думаю, что я увидел бы еще что-нибудь такое, но слышу позади шаги. Оглянулся — пастух. Поздоровался и сел около.

— Давно смотрю на тебя и никак не пойму, что здесь делаешь?

— Обязательно что-нибудь делать? Ничего не делаю, просто сижу — природой люблюсь. Вот и все!

— А что здесь интересного? — как бы возразил он. — Где-нибудь в лесу, другое дело, а здесь — одни сопки голые.

О своих открытиях я ему, конечно, не стал говорить. Только вижу краем глаза: паук поволок муху, густо обмотанную паутиной, к воздушному шалашу.

— Своих коз пасешь? — спрашиваю, хотя наперед знаю, что не своих. Так, лишь бы разговор поддержать.

— Не все мои, просто мы их по очереди пасем. Сегодня моя пора.

Разговор между нами как-то не клеился. Мы замолчали.

В это время из-за горки вышли козы, подошли и бестолково уставились на меня, даже траву перестали жевать. На него как на хозяина ноль внимания. Убедившись, что я чужой, вдруг дружно бросились назад и задали стрекача, только камешки зазвенели под цепкими копытами. Пока я смотрел на них, нечаянно перехватил взгляд моего молчаливого собеседника: он настороженно и вместе с тем с глубоким интересом приглядывался ко мне.

— Ждешь кого-нибудь?

— Да нет же, просто сижу.

— Вон, смотри, на рукаве у тебя червяк ползет, — показывает пастушьей палкой.

И действительно, энергично перебирая лапками, по рукаву моего пиджака пробиралась «шерстяная» гусеница. Огненные

волоски на ее красноцветной спинке торчали, как у ежа. Трогаю ее осторожно пальцем, и из самых длинных щетинок тотчас выкатываются капельки зеленоватой жидкости. Думаю, что ядовитой и определенно предназначенной для отпугивания обидчика, если он попытается проглотить ее.

Пастух не спускал с меня глаз.

— Раздави ты ее, возишься, они же вредные, траву жрут...

— Пусть живет,— говорю,— уж больно красивая. Весна!

И я бережно пересадил ее на соседний кустик травы. Пастух выразил недоумение, сделав кислую физиономию и пожав плечами, затем встал и молча ушел к своим козам. Он вышел на бугор, сел, делая вид, что смотрит за козами, молча поглядывал в мою сторону.

По-видимому, действительно, странно я веду себя: цветов не рву, палов не пускаю. Несомненно, что козопас счел меня за чудака.

Невдалеке, в черемушнике замечаю пару сорок. Та, что покрупнее, видимо, самец, сидела на макушке черемухи. Самка же отчаянно ворошила старые листья и хотя полностью доверялась бдительности супруга, однако нет-нет да и взглянет в мою сторону. Вот с пучком травы в клюве она летит вниз по лугу, и самец преданно следует за ней. Через некоторое время они вновь появились тут же. Вели они себя, как и в первый раз. Но вот поведение их изменилось: с ветки на ветку, с куста на куст, ближе и ближе стали они подвигаться в мою сторону. Не шевелюсь. Примерно с десятков метров птицы с нескрываемым любопытством разглядывают меня, не то от волнения, не то от возмущения дергая роскошными хвостами. Сколько я их знаю, никогда в жизни не видел так близко этих осторожных птиц, как сейчас.

И тут я понял, что и этим смысленным бестиям мое поведение показалось также загадочным: кустов не рублю, гнезд не зорю и камней в них не швыряю и во все горло не кричу. Не ошибусь, думаю, если бы они умели говорить, то обязательно спросили бы: «Что здесь делаешь? Не чудно ли, пришел и сидишь, ничего не делаешь?»

### Алые зори

— Вставай, старина, хватит спать! Уже рассвело, а мы все бока пролеживаем. Пойдем зорьку проводим. Подышим свежим воздухом да тишину послушаем. Птахи проснулись, всю чирикают,— кряхтя, вставал Филипп.

С ветхой подстилки из кошмы, брошенной в углу, поднялся

крупный коричневый сеттер. Качая хвостом, пес подошел к хозяину, сладко потянулся, зевнул, показав коренные зубы. Шумно отряхнулся, шлепая отвисшими ушами и влажными губами. Он сел около Филиппа и из-под набрякших седых век пристально уставился на него умными глазами. Филипп, кряхтя, не спеша поставил серые с черными подметками пимы, легко одел их и накинул куртку. Заметив, что Фингал пристально глядит на него и стучит по полу жестким, как прут, хвостом, заговорил:

— Ты тоже, старый дурень, а тянешься, как кошка. Стало быть, гибкость еще не потерял. А я, брат, видно, совсем утратил ее. Пень-пнем: ни согнуться, ни разогнуться. Ты вот не мерзнешь, а мне летом холодно. Кровь старческая, не греет, проклятая. Совсем никудышним стал. Умереть осталось, да и только.

Филипп встал и направился к порогу. Сдернул висевшую над дверью шапку:

— Пошли, старина!— он толкнул дверь, и скрипучий звук пронзил, как распилил, раннюю голубую тишину.

Утренняя свежесть наплывала со стороны реки, зыбкий туман вставал над спящими покосами. Чистый месяц одиноко стоял в небе. Филипп открыл оконные ставни и, обойдя свой деревянный домик, присел на лавочку у коричневого дощатого забора, который держался за покосившиеся ворота серьгой изрядно потертого медного кольца. Закурил. Фингал сел и, глядя на него, шлепал тугим хвостом, подметая осевшую за ночь пыль. Так и сидели ранней ранью старые охотники, глядя на догоравшую в небе зорьку.

С детства приучен был Филипп встречать да провожать ее. Жизнь в селе прошла, там с зарей поднимаются. А когда охотой увлекся, еще раньше приходилось вставать. Пастухи еще скотину не гонят, а он за селом уже с собакой куропатку в степи, косача по перелескам ищет. Утка пошла — вокруг озерков да заводей бродит. Все это вспомнил он, глядя на Фингала, который, как две капли, напоминал ему его любимую охотничью собаку Висю. Фингал был ее сын. Весь в нее: такой же масти, такой же работающий и смысленый.

— Все, как вчера,— вспоминал и рассуждал Филипп, смотря в раскосые глаза собаки;— все, как будто вчера. А сколько дичи было? Перевелась, куда все подевалось? Что дальше? Какая теперь охота! Охотничью собаку нет надобности иметь. Только и слышно, как тарахтят трактора да голоса людские. Все на мотоциклах, да на разноцветных «Жигулях». Никому покоя не стало. Сезон подойдет — стреляют в кого попало. А мы ведь не так. Боже упаси, бывало, рябушку или утку под-

стрелить. Если и случится, то сам себя готов казнить. Да-а! — и Филипп крикнул, словно отпугнув эти мысли.

А Фингал понимающе глядел в глаза хозяину и все так же услужливо шоркал хвостом, взбивая раннюю пыль. Филипп похлопал его по боку:

— Ничего, держись, старина! Пятнадцатый годок тебе. Ты, оказывается, так же стар, как и я. Только у тебя своя — собачья старость. Я седой, и у тебя морда, даже лапы сивые стали. Разве такой был? Получается, брат, у всех старость одинакова. Иди ко мне, дружище! — Филипп хлопнул ладонью по колену, и пес ткнулся ему в ноги.

Филипп обнял ладонями морду, гладил ее, трепал за уши, похлопывал по острому сеттеровскому затылку. Охотничьи собаки особенно ценились им за эти острые затылки. И как бывалый охотник, он убежден был, что с таким затылком связаны все лучшие качества подружейной собаки. Из-за этой костяной шишки на голове он выбрал своего Фингала из других щенков.

Долго еще смотрели они друг на друга. И неожиданно в блеклых зрачках четвероногого друга Филипп поймал взглядом едва вспыхнувший огонек, какой бывает у охваченной охотничьим азартом собаки. Сразу же вспомнилось, как билось сердце, когда, унимая дыхание, следил за собакой, а Фингал с азартным горячим блеском в глазах тянул к затаившейся дичи. И вот этот огонек позабытой мерцающей звездочкой мелькнул в собачьих глазах. Сам не заметил Филипп, как ожгло его сердце. Он глотнул, сколько мог, чистого воздуха:

— А ну-ка, искать! Искать! Искать, Фингал!

И Фингал будто только этого и ждал. Он резко отпрянул и, вскинув голову, вытянулся, напрягая коричневую спину. Шумно втянул кирзовым носом воздух и во весь опор бросился в садик. Филипп видел, как собака огибала кусты сирени, и не поверил себе, что все вдруг стало, как во времена их далекой счастливой охоты: Фингал застыл в стойке, поймав запах близкой, затаившейся дичи. Передняя лапа, как литая, чутко висела в воздухе. Сам — струна: в одну линию голова, тело и хвост. Лишь нервно подрагивали отвисшие мокрые губы. Тревожно стучало сердце старого охотника. Кровь давила виски. Позабыв, что пес его в стойке в собственном саду, а не где-нибудь в поле, как и прежде, он властно крикнул:

— Пиль!

С шумом и треском Фингал бросился в кусты. Но не последовало волнующего шума взлетающей птицы. Как ни в чем не бывало из кустов вылетела стайка собравшихся с ночи во-

робьев. Оживленно «переговариваясь», они тут же опустились на ближние деревья.

Глаза охотников встретились. Пес, стыдливо косясь, нехотя побрел к Филиппу. А Филипп присел и, обняв его, стал гладить и приговаривать:

— Ничего, ничего, старина! Ты молодец! У нас, оказывается, есть еще в запасе алые зори. Завтра же одну из них мы встретим.

## Скряга

Лодка скользила по глянцевитой облитой закатом воде протоки, с обеих сторон стиснутой густыми зарослями тростников. Женька пристроился на корме, молча и восторженно крутил головой, удивляясь открывшейся ему красоте. Под натужный скрип уключин дед его неторопливо рассказывал о разных случаях, с которыми приходилось ему встречаться во время «старинной» охоты. Женька не подавал виду, что ему гораздо интереснее сейчас слушать непонятные шорохи и звуки в вечерних тростниках. Ему хотелось знать, какая рыба всплеснулась, разбив вильчатым хвостом розовое зеркало вод, или что это за утки стремительно просвистели крыльями над их головами?

За далекими комариными зарослями поймы в грустном и одиноком молчании вечернего торжества тонула горбушка солнечного диска. Облака розовыми сетями глубоко стелились под лодкой. Все было так интересно для Женьки, что он чувствовал себя немножко первооткрывателем, и, понятно, поэтому счастье его было безмерным. Наконец-то он сам побывал на глухих протоках Черного Иртыша. И называется-то река не как-нибудь просто, а Черный, даже немного страшновато. Почему — Черный? Он видел воды его чистыми и светло-румяными. И тут же Женька решил, когда будут писать в школе сочинение на тему, как кто провел летние каникулы, он обязательно напишет обо всем, что видел и слышал. Главное, он расскажет о своем дедке. Пожалуй, ни у кого из мальчишек-одноклассников нет такого деда, как у него, чтобы так много рассказывал о зверях и птицах и про «старинную» охоту. Женька вообразил сейчас себе, что они с дедом самые знаменитые путешественники.

Шурша брезентовым, выгоревшим до белизны плащом, дед поворачивался вперед по ходу лодки поглядеть, куда плыть или свернуть, и снова налегал, неторопливо вскидывая мокрые крылья весел.

— Вот так-то, Евгеша. Сызмальства таким же, как и ты сейчас, постреленком с тятей бывало, с отцом значит, все время в поле работали. Жили на заимках. С тятей я на охоту впервые ходил. С тех пор полюбилась мне природа. Не смог бы, наверно, сейчас жить без нее, в городе не то. Не только что-либо, а звезд, и тех не увидишь. Попривык, не могу без костра, без ушны с дымком. Не-е-т, что ни говори, а дед Скряга знает во всем толк и любит природу.

— Деда, а почему тебя «Скрягой» называют? Это же не фамилия. Жадный ты что ли?

— Почему, говоришь,— дед оглянулся, подтабанил веслом к повороту,— да потому, что в старину в деревне нашей односельчане ленивы да завистливы были. А мы, Пантелеевы, Скряги, любили и не боялись работы. Порода у нас, Евгеша, такая. Крепкожилые мы. Отец приучал к труду. Привыкли и к тому, что дома у нас все было свое. Скота больше, чем у других. На сенокосе в зной и дождь, бывало, пластаемся. Завсегда все заготовим до нового поля. Завсегда хватало. Рыба — само-собой. Добычливы были и как охотники, и как рыбаки Пантелеевы. Было и то, что другим давать не любили. Никогда не ходили просить, но и сами не давали. Оно, знаешь, как говорят, дашь руками, потом ходи ногами. А под весну, бывало, то один, то другой — дай то, дай другое. Получается, им дай, а потом сам локоть кусай. Вот за то и прозвали «Скрягами». Так оно и осталось. У нас если прозвали, то уж никаким железом не выжгешь. Все перепутали, другой раз и не знаешь, у кого прозвище, у кого фамилия.

Скряга помолчал, только уключины плаксиво и размеренно пели под взмахи весел. Женьке почему-то после слов Скряги представлялась какая-то черная, полуобгоревшая коряга, страшная, с растопыренными во все стороны хищными цепкими и крючковатыми когтями, которая все что-то хватает и скребет землю.

— Сейчас, Евгеша,— продолжал Скряга,— много стали говорить, что мол, нужно охранять и беречь природу. Оно правильно-то, правильно, ко всему хозяйский подход нужен. С другой стороны, надо считаться и с тем, что людям-то тоже жить надо. Разве дело, здесь жить и с пустым брюхом ходить? Для кого тогда сохранять ее, если себе ничего?

— Да, деда, обязательно надо охранять. Нам в школе про это рассказывали. Надо, чтобы все было: и бабочки, и цветы. А то, что за природа, если в ней пусто. Не обязательно же ходить в лес, в поле для охоты, можно и так посмотреть, и то здорово!

Женька еще хотел что-то сказать, но Скряга остановил его:

— Ты погоди, погоди, не мельтеши,— поднял он руку, словно отгораживаясь от яркого света.— Ты вот послушай, что дед тебе скажет. Я, поди, несколько годков на свете прожил. Кое о чем мало-мало кумекаю. Дед твой, Евгеша, как говорят, не лыком шит, не из пошин — тоже. Так вот скажу: в бытность мою, в прошлом, здесь по Черному Иртышу столько птицы и разной другой дичи было, сказать — не поверишь. На пролете утка и гусь небо скрывали. Казалось, бей ее, как мошку, не перебьешь. Мы били, а ее не убывало. Сейчас ничего не стало. Так себе, по озерам есть утишки и все. Куда подевалось?— Вытравили. Все перепахали. Куда бедной сунуться, если кругом сенокосы, фермы. Конец всему и пришел. Многие, я слышал, на охоту грешат. Мол, они это выбили, охотники да браконьеры разные. На самом деле обиталища их уничтожили, вот и не стало. И никакой тут охраной не поможешь. Вот так-то, Евгеша!

— Деда, это правильно ты говоришь. Но если так получилось, что мало стало птиц и зверей, значит надо нам всем делать так, чтобы они вовсе не исчезли. Которые еще остались, их убивать не надо. Охота им не на пользу. Если ты убил утку, то на следующий год птенцов — штук пять или десять — не будет. Какая же польза от охоты, если охота — одно убийство. Нам в школе говорили, что людей сейчас зсюду много стало, если все будем убивать или зорить кого-нибудь, ничего вообще на земле не станет.

Скряга, опустив весла, повернулся назад. И в тот же миг к щербатому рту приставил палец:

— Тшш! — прошипел он, наморщив лоб.

Еще раз два тихонько опустил в воду весла и поспешно достал спрятанное под травой ружье.

— Здесь всегда утки,— шепотом, торопливо сказал он Женьке.— На уху! Сейчас.

— Ну, деда, сейчас они на гнезда садятся,— хотел остановить его Женька.

— Тихо, ты,— дед привстал, втянул шею и взял наперевес ружье.

Лодка медленно, влекомая течением, огибала тростниковый мысок. Показались у края протоки цветы лилий и кувшинок, отливающие глянцево-белым светом. Шумя и сверкая стекающими каплями, внезапно взметнулись крылья уток. Сразу же громыхнули два выстрела, и одна за другой птицы гулко шлепнулись в воду. Это были селезень и утка. Они плавали кругами, пытались нырнуть, тела их не слушались, и вода тут же выталкивала их назад. Скряга подвел лодку и ловко выхватил пытающихся спастись раненых птиц. Женька отвернулся. И тут

же услышал: о борта лодки глухо ударялись птичьи головы. Дед крикнул и, довольно улыбаясь, бросил их на дно лодки. Женька видел, как обреченно дрожали тела уток, как беспомощно дергались их оранжевые лапки. Багровое пятно крови медленно расплывалось, растворяясь в закатной воде у борта. Но вдруг селезень поднялся, подобрал крылья, лишь голова его безжизненно лежала подле. У Женьки выступили слезы и, словно понимая горе его, селезень затряс хвостом, будто хотел унять боль мальчишеского сердца. Женьке казалось, что он говорил: «Не надо, успокойся!» Птица подобрала раскинутые крылья, потом прилегла и затихла. Зеленым огнем скользили последние отблески умирающего дня на перьях крыльев. Отсветы еще не потухших высоких облаков кружили на колечках хвоста. Селезень был молодым и сильным, в разгаре брачной поры. Организм его долго боролся.

А дед вытер свои короткие обросшие жирными редкими волосами пальцы. Достал, закурил «Приму» и, шумя плащом, стал удобнее усаживаться. Тонкие губы его крепко держали затухающую сигарету. Блеск холодной пустоты тускло бился вокруг темных провалов зрачков. В движениях его появилась восторженная суетливость, лицо приняло выражение скрытого блаженства. Он взялся за весла.

— Так вот, Евгеша,— как ни в чем не бывало продолжал, он,— охрана природы дело, конечно, нужное. Хорошее. Но делать это надо с умом.

Дед еще говорил много, но Женька опустил полные слез глаза и слышал лишь обрывки его слов. Дед отплевывался от попавшего в рот табака. Уключины натужно и скорбно мычали. О чем-то невеселом шептались темнеющие тростники, и все же скорбно из-за легких облаков смотрела с высоты луна. Женька избегал взгляда, старался не смотреть на деда. Он будто не узнавал его. Скрыга стал вдруг для него чужим. Вскоре лодка ткнулась в обрывистый берег.

— Здесь и шалаш поставим,— выбираясь на обрыв, говорил Скрыга, привязывая лодку к молодой ивовой поросли. Ты, Евгеша, иди принеси сена, вон — видишь стожок, а я пойду ивиняка нарублю.

— Деда, но ведь нельзя же: сено не наше, а кусты рубить...

— Давай, давай! — перебил его Скрыга. — Ты делай, что тебе говорят, — и, помахивая топором, он уверенно направился в заросли.

Уже в сумерках у костра Скрыга ощипывал и палил уток, не переставая говорить, как он любит природу, как здорово «ушицы» из уток похлевать под чистым незадымленным небом. А когда ужин был готов, он позвал Женьку. Однако Женька,

сославшись на то, что у него болит голова, ушел спать в шалаш, назавтра попросил, чтобы дед увез в село. Оттуда он поскорее уехал домой.

Лето прошло. Настал день, когда они, ученики шестого класса, должны были писать сочинение на тему «Как я провел лето». Загоревшие соклассники Женьки наперебой делились впечатлениями о своих прогулках, походах. И обязательно тогда в их разговорах чаще слышались слова «бабушка» и «дедушка». Женька, задумавшись, мусолил во рту конец ручки и с навернувшимися на глаза тихими слезами молча сидел над раскрытым чистым листом бумаги. Он вспоминал тот прекрасный вечер на одной из проток Черного Иртыша, слышал те гулкие удары о борт лодки и видел синие зеркальца на крыльях весеннего селезня. И натужный скрип уключин, и повторяющиеся заверения его деда в том, что он страшно любит природу и в том, что охранять ее нужно с умом.

Но так и остался перед ним чистый листок из новой тетради.

## Радуга

Почти месяц беспощадно палит солнце, как и сегодня, от горизонта до горизонта появляются и на глазах тают белые облака. Тени их бесшумно, крадущимися кошками ползут по знойным полям и по горячим галечным косам. Целыми днями солнце, зной и — ни капли дождя.

Рыжий, с оранжево-соломенными волосами рослый бакенщик, легко спихнув с берега лодку, умело толкался шестом. Мы плыли по тихой, запятанной в зарослях ивняков протоке Иртыша. Свесив язык, на корме лодки тяжело дышал запалившийся чалый пес. Еще не успели пристать к берегу, а он шумно плюхнулся в реку, шлепая и брызгая во все стороны языком, стал жадно лакать воду. Лодка мягко ткнулась в песчаную отмель. Мы стали готовить удочки. Пес еще некоторое время отлеживался в воде у берега, прикрывая уставшие от зноя глаза. Затем вышел и, отряхнувшись, «повесил» около себя кусок радуги. Бакенщик заметил это и, оглядев небо, обратился ко мне:

— Похоже к дождю дело идет. Давно бы пора: земля совсем засохла. Иртыш рядом, воды в нем сколько, а вокруг сушь. Все повяло. Хлеб сгорает.

Из ржавой консервной банки он извлек червя, насадил на крючок и, поплевав, со свистом забросил леску. Поплавок звонко шлепнулся в воду, ширясь, от него пошли частые круги,

доставая берега и лодки. Бакенщик замер в стойке охотничьей собаки, приготовившейся поднять перепела, подставив растрепанные волосы и красную веснушчатую шею солнцу. Взгляд его был прикован к чуткому поплавку. Ключило: поплавок макнулся раз-другой и резко нырнул в глубину. Бакенщик подсек, в воздухе тонким полумесяцем сверкнул узкий бьющийся чебак. Начался усиленный клев, и один за другим вылетали сверкающие чебаки и окуни. Вскоре в котелке из воды высовывались жадно глотающие воздух рыбы рты.

Еще раз оглядев небо, рыжий теперь вполне уверенно сказал:

— Наконец-то!

— Что, наконец-то?— спрашиваю.

— Дождь, говорю, будет.

Он вытер с покрасневшего лица капельки янтарного пота и кивком головы показал на потемневший край неба.

— Вон, видишь?

У западного горизонта, как из земли, вставала темная крученая туча.

— А рыба как жрет, не видишь что ли?

И, как бы в доказательство, он вытянул крупного травянистого окуня, играющего оранжевыми перьями. Теперь мы то и дело поглядывали на небо, на темную жирную тучу. Она ширилась на глазах, словно росла на опаре, и тут же раскалывалась. Через полчаса уже целая вереница их, сцепленных равными лохмотьями краев, надвигалась из-за горизонта. Солнце золотило их светлые закрайки. Вдали ударил гром. Его отдаленные раскаты следовали один за другим. Врезались в потемневшее небо красноватые и ослепительно-белые, ветвистые молнии. Вокруг все затихло, насторожилось: умер сухой перезвон кузнечиков, вода стала гладкой и недвижимой, обмякли и поникли травы, повисли листья ивняков. Чуть-чуть не касаясь воды, промелькнул зимородок. Живая, синяя молния на несколько секунд оставила в глазах изумрудный след. Стало душно. Пес перестал суетиться и шлепать языком воду. Он терся у ног хозяина, беспокойно озираясь.

— Давай на берег!— скомандовал тот.

Мы налегли на лодку. С шипением она поползла на песчаный берег.

— Переворачивай!

Мы снова налегли.

Забравшись под лодку, стали поудобнее рассаживаться. Густо пахло нагретой смолой и отдавало запахами речных пристаней и затонов, набитых бревнами сплавленного леса со сбитой на перекатах корой. Первый порыв ветра пригнул де-

ревья. Заволновались листья. Деревья замахали платками ветвей, словно прося пощады. «Клек-клек-клек»,— ударили первые дождинки, и на воде заплясали сотни поплавок, лягушачьими глазами вспучились пузыри. «Так-так-так»,— заговорили дрожащие пыльные листья конского щавеля. Коричневый стебель его мелко трясло от частых ударов. «Дэ-дэ-дэ»,— загудело днище лодки.

Дождь приступами напирал и, едва отступив, вновь припускал, все наполняя водяной пылью. Напористые струи падающей воды рассекали ослепительно-зеленоватые молнии, за которыми следовал оглушительный суховатый треск грома, словно небо колелось на куски. С бортов лодки стекали ручьи. До наших ног доставали пыльные брызги. Пес отфыркивался и нервно дрожал теплой, как бы дымящейся шерстью.

— Дает жару!— сказал рыжий, ниже опустил голову и попелушину посмотрел на седое поле дождя.— Вот это музыка! Благодать! Хорошо! Земля теперь вздохнет...

Он плотнее подобрал колени и, дыша в них, бессмысленно уставился в одну точку.— Просидели не более десяти минут. Дождь внезапно отступил. Хвосты туч еще висели в небе, еще поигрывал буйную мелодию неугомонившийся гром, но солнце уже счастливо и молодо смотрело с заголубевшей высоты.

Мир за это время изменился: изумрудная трава, прибитая дождем, теперь шевелилась, вставая, вздрагивала, роняя крупно-отборный жемчуг дождевых капель. Падая с листьев, они тут же пропадали в парящей земле. В небе зажглась новенькая подкова дождевой радуги. Один ее рукав висел над рекой, другой — опускался за ближние сопки.

— Видишь, как за дождем гоняется, а напьется — исчезнет,— заметил рыжий.

Пес оживился, убрал язык, опять суетился около хозяина: встряхивался, развешивая мелкие осколки радуги. На вершине одинокого тополя, распутив крылья, расселись мокрые грачи. Они чистили клювами перья и встряхивались так, что водяная пыль вспыхивала, тоже рождая маленькие радужные огни, которые, не разгоревшись, угасали. Бакенщик закатил до колен штаны, зашел в воду и, замахнувшись, свистнул леской. На его благодушном лице горели тонкие линии света, отраженные в повеселевшей воде.

### Легенда о совах

Позади осталась сизая запыленная степь. Из-за серых скал по колено в ковылях вышли первые сосны. Я свернул на тропу и вскоре очутился на поляне, окруженной все теми же

соснами и осинником. У серой гранитной плиты, вскидывая вулканчики слюдяного песка, бился родничок. Под сосной выгоревшая до белизны солдатской гимнастерки — палатка. Среди шершавых камней чернело огнище-костра. Чайник неизвестного цвета, покрытый многослойной сплошной копотью, стоял около. На колышках висела нехитрая чайная посуда.

Омархана не было. Но солнце клонилось к западу, и я знал, что он с минуту на минуту пригонит свое стадо. Вскоре он появился и легко соскочил с незаседланной лошади, спутал ей передние ноги, отпустил пастись, похлопав по лоснящемуся крупу.

Мы приветствовали с Омарханом друг друга, пожимая руки и расспрашивая коротко о жизни и новостях. Затем принялись готовить ужин.

Раскинув уставшие ноги, он наслаждался вечерним отдыхом, потягивая крутой чай и слушая приглушенный гомон осинновых листьев, неторопливый говор старого приятеля. Подвернув под себя ноги и, откинувшись на седло, подложенное вместо подушки, Омархан, как фокусник, на самых кончиках пальцев держал кесе. Пил он медленно, но жадно, побрякивая и шурясь от удовольствия. Затем брал кусочек ирмшика и забрасывал его в рот. И опять тянул чай, шурясь на огонь. Пламя, зажатое между камней, вырывалось, облизывая густую тьму. С каждой волной огня высвеченная сосна словно подходила из тьмы к костру. Огонь оседал, и она также покорно отступала в темноту. Обо всем переговорив, мы молча вдыхали покой летней ночи. Вдруг тишину прорезал леденящий душу крик: Ух-ху-ху-у! Он, как дьявольский хохот, эхом ударившись о скалы, еще и еще звучал в кромешной тьме. Далеко в ночном лесу раздался жутковатый хохот птиц.

— Кто так, как шайтан, кричит?

— Сова ушастая, — отвечаю.

— Нехорошая она птица.

— Почему же, напротив, — не соглашаюсь с ним.

— Хорошая птица так плохо кричать не будет. Это проклятая птица!

— С чего ты это взял, что она нехорошая?

— Я ниоткуда не взял. Оно так есть. Старики говорили. Значит — правда. Старики неглупые были. Все знали: какой зверь, как ходит, что любит, как ловить его. Голос птиц хорошо знали. Не как мы...

Омархан еще плеснул в кесе чаю, потянул глоток:

— Разве ты не знаешь нашу старинную легенду?

— Нет.

И я попросил его рассказать о ней. Омархан еще подбро-

сил дров в костер, отвалился к седлу и, отпивая запашный чай и смотря на повеселевший огонь, медленно заговорил.

— Давным-давно в далеком степном ауле жили два друга. У каждого из них паслись в вольных степях бесчисленные стада овец и дойных кобылиц. У каждого было по семь детей: у Касыма — все сыновья, у Керима — дочери. Прошло время, и дети их выросли. Мальчики стали джигитами, девочки — красавицами-невестами. Когда дети их поженились, Керим вовсе разбогател, получив большой калым за каждую дочь. А отец сыновей, Касым, напротив, окончательно разорился. За каждую невесту он выплатил положенный выкуп. Поэтому стал бедняком, каких в ауле было немало. Касым не только лишился богатства, но и потерял своего лучшего друга. Ведь не случалось еще, чтобы богатый дружил с бедным. Касым вынужден был наняться в пастухи к Кериму.

Прошло еще некоторое время, и на склоне лет у них родилось еще по одному ребенку. Только у Касыма на этот раз — дочь, а у Керима — сын. Больше всех на свете радовался разорившийся бедняк. Теперь он тоже получит за дочь свою калым. Будет у него свой скот. Он обеспечит себе старость. Дочь его росла красивой, и слух о ней прошел по всем аулам. Услыхал о ней и старый бай из дальнего аула. Вскоре он приехал с богатыми подарками и засватал за себя будущую невесту. А пока она росла, отец получал постоянно от бая щедрые подарки. Юрта бывшего бедняка стала не хуже, чем у его бывшего друга, нового богача — Керима. На столе каждый день — мясо и чай.

Пролетели годы, и настало время готовиться к свадьбе. Пришла пора отдавать ее за старика, как было условлено. Начались свадебные приготовления. Но случилось непредвиденное: у девушки давно был возлюбленный и, как ни странно, им оказался красивый и сильный джигит, сын богача Керима, который тоже очень любил ее.

Омархан еще подкинул дров, плеснул чаю, втянул глоток. Помолчал. Вдали печально ухала одинокая сова.

— В жизни тоже бывает: ты ее любишь, она тебя нет. Почему так бывает, а? — И Омархан опять замолчал.

— Так вот, узнав о приближающейся свадьбе, девушка и джигит, чтобы их не разлучили, решили тайком бежать, куда глаза глядят. Опустилась тревожная ночь. Влюбленные заранее договорились встретиться далеко за аулом, у старой орешины. Так и сделали. А потом бежали и бежали всю ночь подалее от родного аула. Узнав о побеге дочери, отец ее пришел в ярость. Он упал на колени и стал рвать на себе бороду и волосы. Люди смотрели и сокрушались новой беде Касыма.

Только богач Керим ходил и посмеивался. Тогда старый Касым самыми черными словами стал проклинать свою дочь и джигита:

— Будьте вы вечно прокляты!— кричал он.— За то, что вы разорили и опозорили мою седую голову, чтобы вы не видели ни днем, ни ночью. Чтобы лица ваши и сами вы стали хуже, чем самые поганые шакалы и гиены, чем самые мерзкие грифы и стервятники. Чтобы образ ваш уподобился самому шайтану, тело ваше покрылось чешуей гадов! Чтобы отнялся язык, да пропал голос ваш!

Посрамленный бай тем временем послал погоню за влюбленными беглецами. Он велел привезти их живыми или мертвыми и обещал большое вознаграждение. Только вот мать девушки, услышав проклятия своего Касыма, стала умолять его, чтобы он не желал детям своим страшных проклятий. Но Касым и слышать не хотел, раздражался еще более ужасными проклятиями, призывая злого духа. Тогда мать девушки стала умолять доброго духа, чтобы он помог влюбленным и все простил ради такого великого чувства, как Любовь.

Ночь и день бежали девушка и джигит по бескрайней степи. Под вечер они увидели, что их настигает байская погоня. Всадники мчались с гиканьем, угрожающе размахивая камчями, приготовив волосяные арканы. Когда беглецы отчетливо слышали топот копыт и увидели перекошенные от злости лица, то вдруг почувствовали, что могут взлететь. И прямо на глазах озверевших всадников они обратились в странного вида птиц, поднялись в воздух и полетели. Им помог добрый волшебник — дух. Тогда байские гонцы вынули стрелы. Чтобы не пасть от стрел, эти птицы сели на старый карагач, одиноко стоявший в степи, и сразу пропали, будто накрылись шапками-невидимками.

Погоня была сбита с толку и сколько ни искала их, никак не могла увидеть среди ветвей и сучьев старого карагача. Тогда преследователи решили: ночью нужно спалить карагач. Они знали, что птицы не видят. Так и сделали. Но оказалось, что эти птицы в темноте видели еще лучше, чем днем, поэтому благополучно улетели и скрылись в лесу. Так и остались они жить там: днем прятались от солнца, а ночью летали.

Немало с этого дня воды утекло. Через некоторое время птицы почувствовали смертельную тоску по людям, по родному краю. И каждую ночь под покровом темноты, при свете луны и звезд, когда в очагах людей угасал огонь и наступала тишина, они прилетали в аул, жалобно кричали. Люди слышали их голоса, им становилось жутко, и они прогоняли от своих домов этих проклятых птиц, которых считали детьми самого шайтана.

С тех пор люди не любят сов твоих, — закончил свой рассказ Омархан.

Еще некоторое время мы лежали молча. Улегся меж камней уставший спорить с ночью огонь. Мирно шептались о чем-то молодые осинки, вздыхали сосны, да долго в непроглядной тьме скорбно смеялась одинокая сова.

Омархан ушел в палатку. Расстелив спальный мешок у потухшего костра, я долго еще перебирал смысл рассказанного им и поражался, как тонко в этой старинной легенде, в казахском народном фольклоре отражено высокое мастерство наблюдать и подмечать существенные биологические особенности животных.

Облик сов действительно своеобразен. Они не похожи на других птиц. Но это связано с их сумеречной и ночной жизнедеятельностью, а проще — охотой. Еще и сейчас многие считают, что совы плохо видят днем или даже вовсе слепы, а потому так близко иногда подпускают людей. Объяснить это поведение сов можно тем, что они рассчитывают на свою маскирующую конфигурацию и главное — окраску. И внешность, и окраска сами по себе оригинальны и удивительно вписываются, сливаясь с выцветшей и растресканной корой деревьев, в окружающий фон веток и сучков. Бывает так, что глядишь на сову и кажется: либо это кусок торчащей коры, либо обломанный сук, смотришь и не видишь птицы. И что интересно: будто бы прекрасно зная свои особенности, совы научились не только удобно устраиваться на день у основания ветвей, но еще и прятаться, прикрывая глаза. У сов они яркие. Чаще всего оранжевые, желтые или красноватые и поэтому всегда способны выдать своего хозяина. Выход один — прикрывать. Веки сов подвижны, покрыты бархатистыми мелкими перышками. Не исключено и то, что яркий солнечный свет утомляет их глаза, приспособленные к сумеречному освещению. Все это очень тонко и подмечено в легенде, рассказанной Омарханом.

Лицевой диск, а проще «лицо», с односторонним расположением глаз, перьевые пучки на голове — «рожки» — и крючковатый клюв сформировали совершенно нетипичный для птицы облик, а точнее непривычный для нас, потому как птицы, которых мы часто видим, выглядят иначе. У сов не просто есть «лицо», а еще и «рога». Тут уж привычное сходство само собой напрашивается с самим пресловутым чертом, шайтаном.

Впечатление от их необычной внешности усиливается, когда люди слышат совиные крики в ночи. Некоторые виды сов кричат меланхолично или, напротив, закатываются жутким раскатистым смехом. Все это, естественно, вызывает страх, особенно у суеверных людей. Это и есть одна из главных причин

неоправданной ненависти к ним со стороны невежественных людей.

Омархан уже спал. Я же с упоением наслаждался покоем и думал, как прекрасны летние ночи и как хорошо, что по ночам умеют роптать деревья и будоражит мысли жутковатый крик этих таинственных птиц, называемых просто и привычно — совы.

## Погоня

(б ы л ь)

За маленьким четырехдолным окошечком, врубленным в рыжие листвяжные бревна таежной избушки, медленно оттаивал темно-синий загустевший на морозе сумрак. Тишина в предрассветной тайге. Писк и мышинная возня в этот час воспринимались необычно, они казались настоящим шумом и были слышны не менее чем за версту.

Михаил встал затемно, зажег тряпичный фитиль жестяной жировушки. Этот нехитрый светильник для таежника надежный друг на протяжении двух-трех месяцев с длинными ночами. Прокопченные, отдающие старым дымом стены избушки наполнил тихий мерцающий свет. Выложенная из камней печка прикрыта железным листом, подготовлена еще с вечера. Он поднес спичку, и огонь охотно взялся за просушенную бересту, за смолистые поленья. Поставив чайник, он закурил. Настроенное было приподнятое: обещал под вечер приехать отец, в промысле помочь.

Его отец Григорий Давыдович, или просто Давыдыч, как знали и звали его охотники-промысловики, тем и знаменит был, что скорее многих и всегда полностью выполнял план по соболю и другой цветной пушнине. Поэтому и пользовался заслуженным авторитетом охотник Фадеев.

Много у соболятника каждодневных дел: от темна до темна тайгу ногами меряет, а все равно скучновато бывает, особенно по вечерам. Словом другой раз не с кем переброситься. Михаил этой зимой даже собаки не взял в лес. С щенками дома осталась зверовая лайка.

Как условились заранее, старый охотник должен был прийти под вечер в эту избушку: она ближе к Убе. Переход до нее от заубинского таежного села Карагужихи при ровном ходе — один день. Сорок — пятьдесят километров по заснеженной тайге для охотника привычное дело.

Чтобы, как говорят, чин-чином встретить отца, Михаил за-

месил пораньше тесто, наделал целый противень пельменей. В тайге пельмени после долгой дороги по рыхлому снегу да по крепкому морозу — первое блюдо. А потом чай, настоянный на чагыре. Пельмени он вынес на мороз и прикрыл железным ситом — не то вездесущие сойки да кукушки растащат.

Чтобы не терять зря время, Михаил решил пройти по короткому путику, идущему вдоль таежной речки Белой, сбегаящей с вершин Тигирекского хребта. Места здесь добычливые. Одно-двух соболишек на путике обязательно возьмешь. Не бывает и без неудач, но соболь здесь есть. Беда только в том, что чуть замешкался, вовремя не осмотрел капканов, россомаха обязательно управится: рожки да ножки останутся. Не любят таежники ее, страсть как не любят. Названия такие придумали, что и сказать неприлично. И все из ненависти.

Поверх пайпаков Михаил натянул мягкие кожаные бутылы, крепко затянул кожаным шнурком сильные икры, чтобы за голенища снег не сыпался. Охотнику ноги беречь надс.

Солнце уже поднялось над горами. Меж крутых лесистых склонов густели темные провалы света, заполнившие межгорные и сумрачные долины и щели.

Решив идти ненадолго, Михаил прихватил лишь рюкзак, где лежали топорик да лопаточка: веток для шалашика подрубить или след звериный на тропе подрезать. Ружье не взял. Ни к чему оно, только тяжесть. Сунув носки бутылей под крепления коротких, подбитых камусом лыж, прихватив каек\*, он привычно и легко заскользил к ближнему гольцу, к границе своего охотничьего участка, к отлогой гриве. Невысокий, крепкий и энергичный, опытный охотник и бывший лыжник, Михаил скоро одолел первый подъем. Сობоль был: следы его, похожие на широкие парные вмятины, подходили к путику. Но осторожный зверек не решался пересекать след человека — мало ли что? На всякий случай, из предосторожности он уходил в заломы.

Сторожкая ломкая тишина, осевшая по солнечным осинникам, нарушалась перестуками дятлов. Они перепархивали, шаркая когтями по коре стволов. В кедрачи, покрывающие отлогие увалы, декабрьское солнце едва просачивалось, и мсж древних бугристых стволов стелился синий сумрак. Путик вывел Михаила на голую вершину отрога. Взгляду открылась панорама невысоких заснеженных гор, заросших темно-хвойным лесом. Местами массивы его черным потоком обтекали осинники, березняки, и отдаленные вершины заливали фиолетовым дымом. Отсюда, как на ладони, смотрелась примостившаяся у

---

\* Каек — длинный шест.

забитого снегом ключика избушка, из трубы еще струился жидкий дымок. Таких избушек у Михаила полдюжины. Стоят они по таежным взгоркам, у ключей да у речек. Все на удобных, нужных местах, все, как судьбой, связаны путиком. Вдоль них настороженные капканы да кулемки. С ноябрьских зазимков до февральской стужи ходит по ним промысловик.

Впереди возвышалась тупоголовая безлесая гора. На вершине ее, даже в тихую погоду, серебристыми сполохами светились снежные вихри, словно столкнувшиеся в споре за обладание высотой. Такие голые и самые высокие вершины на Алтае называют ялбанами или шишами. Этот, куда шел Михаил, усыпан сплошными каменистыми россыпями, где постоянно селится пищуха-сенокосовка. А там, где сенокосовка, всегда держится соболь. Место добычливое. От ялбана путик поворачивал к востоку, в пяти — семи километрах у ручья стояла другая избушка. Идти к ней легко: все время на спуск. Пока идешь — отдыхаешь.

Осмотрев около десятка пустых капканов, Михаил не стал тратить время на перестановку их. Он торопился, чтобы пораньше вернуться, отца встретить и, поэтому откладывал на завтра. Вскоре погода стала портиться: небо заволокло светлыми дымчатыми облаками. Морозец сдал. Оттепло. Только стало еще глуше. Скрип или треск под ногой простреливал насквозь серую предснежную тишину. Буран мог пойти в любую минуту, что также подстегивало охотника.

Часа через два он выбрался на лысый ялбан. В голубой щели меж валунов, засыпанных снегом, в капкане чернел свернувшийся в комочек соболь. Михаил всегда удивлялся вроде бы простой, но удивительной загадке этого зверька. Попав в капкан, соболь быстро околевает даже при небольшом морозе. Вот и сейчас удивлялся Михаил, когда увидел, что соболь попался за коготок. Не верилось, что из-за этого так быстро замерз. Может, от злости или отчаяния гибнет? Ведь соболь не останавливается ради жизни и свободы ни перед чем: отгрызает себе лапу, и тогда поминай, как звали. А тут вот только за коготок — и конец.

Огладив маслянистую ость закаменевшего зверька, он положил его в рюкзак. Сбросив лыжи, Михаил присел и стал заново настораживать капкан со всеми охотничьими премудростями, необходимыми при промысле привередливого и осторожного зверька. Вдруг он услышал неясный звук: не то кто-то хрипел, не то фыркал. Михаил внимательно прислушался — тихо. Решив, что это ему показалось, принялся за дело. Но вскоре отчетливо услышал тяжелый храп.

— Неужели кто на лошади? — пришла ему мысль.

И, не отдавая отчета в том, кто же в такие снега и в такие горы проберется на лошади, он привстал и, оглянувшись, оторопел. Ниже по склону, в метрах десяти, из снега на него смотрела огромная квадратная медвежья голова. Забитая снегом шерсть делала седой с подпалинами шкуру, будто медведь подпалил ее у костра. Некоторое время зверь, видимо, сдерживал дыхание и был не слышен. Но вот уже подошел близко и не спускает глаз с охотника. Пасть зверя разинута от усталости, огромные клыки и передние зубы, словно накипью, покрыты ржавчиной. Было видно, что медведь старый и что он выбился из сил, пока поднялся сюда по глубокому снегу: вена кусками свисала из пасти. Большие клыки врезались в черную кайму губ. Бока вздувались, слегка парили, из ноздрей вырывался горящий воздух.

— Что же ты зубы не чистишь?— мелькнула у Михаила ненужная сейчас мысль.— Шатун! Черт побери!

Екнуло сердце, волна, туманящая сознание, ударила в голову, дыхание на миг остановилось, словно по телу пропустили ток. Он встречался с медведем в тайге и не раз. Но то охота: было ружье и собака. А сейчас? В три-четыре прыжка зверь достал бы его, но снежная преграда — сугроб — разделял их. Михаилу яснее ясного — оголодавший шатун специально охотился за ним. И если бы не этот выматывающий подъем по глубокому снегу и не эта чуткая тишина, то неизвестно, чем бы окончилась встреча зверя и безоружного охотника. Только выдержка медвежатника вернула Михаилу самообладание, так нужное сейчас.

Сунув бутылку в крепления, он схватил рюкзак, развернулся на след и побежал назад по лыжне.

— Куда? С горы напрямик, застряну, задавит...— быстро прикидывал он.

И тут же принимал решение — сворачивать на путик, ведущий к ближайшей избушке. К ней легче: на спуск по гриве. Через лес — опасно. А страх неотступно стучал болью в висках, сжимал сердце и теснил дыхание. В ногах появилась легкая дрожь.

— Главное — спокойствие, — приказывал он сам себе, — спокойствие. Главное — без паники...

И что было сил, стараясь не сбиться с ритма, он легко скользил по путiku.

— Не упасть, не заплутаться только бы...

Бежал скоро, но ему казалось, ноги не слушаются, и бежит он убийственно медленно, как в страшном сне. Метров через триста или километр, трудно было сказать через сколько, он набрался смелости, остановился и прислушался: «Бежит или

нет?» Не унималось расходившееся сердце, оно рвалось из ставшей тесной груди, уже стучало где-то под горлом, а сознание неудержимо подгоняло: беги, беги скорее! От резкой нервной и физической перегрузки дрожь усилилась. Но Михаил, пересиливая страх и желание бежать, вслушивался в тишину.

— Неужели отстал? Да, кажется, отстал.

Но тут же он вновь слышал, как задыхаясь и фыркая, по его следу бежит шатун.

— Наверное, старый шатун, старый! — крутится в мыслях.

От одного только слова «шатун» страх ослабляет мышцы и тело. И снова — бегом. Лыжи выскакивают из лыжни, но снова и снова, ширя шаг и работая кайком, пружиня ступнями, Михаил направлял их на старый припорошенный след. В снежных переметах носки их зарывались, тогда, как лопатой, он зло бросал ими снег выше головы.

— Черт бы побрал колодину, — вспомнил, что поперек путика в том месте, где огибает выходящий к вершине тупой сопки кедровик, лежит не утерявшая ветвей кражистая валежина.

В горле, кажется, совсем высохло, и сухость, обдирая легкие, остро колола не унимающуюся от одышки грудь. Воздуху не хватало, соленый пот выедал глаза.

— Вот она!

Полузасыпанная снегом кедрина раскинула, словно костлявые руки, обглоданные временем сучья. Чтобы перелезть, нужно снять лыжи. Михаил сдернул их, перебросил через колодину и тут же по пояс утонул в снегу. Трясущимися руками схватился за сучки и мешком упал на другую сторону. В глазах потемнело от усталости и напряжения. Смахнув снег с лица, он поймал лыжи, решил бросить рюкзак с соболем — вдруг им займется Топтыгин, тогда можно выиграть время.

Резкая тошнота осилила его. Судорога пробежала по телу, и его тут же вырвало. До слуха доносится храп задыхающегося от погони зверя. И снова охотник бежит по путику, огибающему пни и стволы кедрового редколесья. Мысль только одна — скорее в избушку!

Опять рвота. Силы иссякли. Михаил останавливается, чтобы перевести дыхание. Сердце, казалось, вот-вот разорвется или выскочит из груди. Но страх, рисующий громадную мохнатую тушу со злобными маленькими глазами, гонит его вперед.

Только бы — до избушки. Теперь и соболь ему не нужен. Не остановился. Шатун вошел в азарт, решил до последнего преследовать намеченную жертву. Михаил хорошо знал, что ярость и голод делают зверя беспощадным.

Михаил подбежал к невысокому кедру.

— На дерево! Не успею, сил не хватит...

Он снова бежит — лишь бы укрыться в избушке. И опять преодолевая колющую боль в легких, тошноту и рвоту, бежит по путику. Оставалось немного: лишь одолеть небольшой взгорок.

— Успею ли, только бы не потерять скорость! Не запнётся бы!

Одиночные деревья стояли вразброс на округлом увале. Они, словно понимая всю опасность, разошлись, уступая ему дорогу, хотя горы и снега оставались убийственно равнодушными. Отсюда путик плавно поворачивал вниз, шел косогором к речке, там до избушки — рукой подать.

Сердце заходило. Михаил захлебывался воздухом. Его было так много, что распирало грудь и его же не хватало, Михаил по-рыбьи хватал его сухим ртом. Оглянулся: за черноногими стволами редких кедрин, что стояли в седловине перед увалом, взрывая снег, взлетала темная туша зверя. Она тяжело вскидывала передние лапы, почти с маху с головой уходила в снег. И снова взрывался перед ним сугроб, из которого, как из морской пены, появлялся злобный жадный до человека шатун. Зверь был уже недалеко, и Михаил слышал храп и грозное протяжное уханье.

Путик сбегал вниз по склону, уводил к лосиному мыску в осиновом лесу, змеился по забитому снегом логу. Вокруг торчали макушки кустарников. Вразброс стояли строгие пихты, словно вышедшие сюда посмотреть, чем кончится погоня. А Михаил чувствовал, что он сейчас либо упадет, либо сердце разорвется, лопнут в висках вены. И только спуск снимал мучительную нагрузку, отводил тошноту.

Он добежал до ручья, пробивающегося кое-где среди круглых сугробов. Сюда он ходит за водой. Избушка — за бугром, на нем — сугроб. Михаил оглянулся. В сотне шагов, глубоко оседаая в снег, дергалась бегущая туша. Медведь глухо ревел.

Михаил поставил елочкой лыжи и побежал по крутому сугробу. Лыжи проваливаются в пустоту у засыпанного снегом куста, и Михаил, отчаянно дергая их, слышит предательский треск. Обломок уже болтается на ноге, и он тонет по грудь в снег.

— Пропал! — охватывает его полное отчаяние.

Что было сил он, помогая руками, карабкается вверх, переваливаясь с боку на бок. Гирей тянут назад лыжи. Как у немелого пловца, голова показывается и тонет, вскидываются руки. Глаза и уши забиты снегом. Удушье сжимает грудь. Жарко стучит где-то под горлом сердце. Он карабкается, проваливаясь и оползая. Будто поняв, что человек беспомощен, шатун с утробным рыком и хрипом, тоже из последних сил, но

воодушевленный скорой развязкой, барахтаясь, пробивался напрямик к Михаилу.

Мгновение Михаилу показалось вечностью. Наконец он выскочил, вырвался из снежной западни. Сбросил волочащийся обломок лыжи. Из чурбака, на котором он всегда рубил дрова, торчал колун с длинным размашистым топориком. Одним рывком выдернул его и, широко расставив ноги, встал в дверях избышки, приготовившись к схватке. Разъяренный погоней зверь не заставил себя долго ждать. Тут же из-за бугра высунулась его забитая снегом голова. Взлетели над сугробом округлые мохнатые лопатки, оставалось лишь несколько шагов. Увидев охотника с поднятым орудием, шатун словно понял, что тот полон решимости защищаться. Хищник заметался, словно в клетке, взад и вперед, мягко вскидывая свою грозную тушу. Однако к двери, где стоял охотник, не подходил. Затем он встал на задние лапы во весь свой могучий рост и косо, как бы через плечо, поглядывая на противника, которого несколько минут назад считал своей законной добычей, подобно взъерошенной рыжей колонне, покачиваясь, топтался на месте. Потом он сделал несколько шагов к Михаилу, приподняв когтистые могучие лапы и вздыбив шерсть, грозно зарычал. Однако, заметив, что охотник еще выше поднял над головой нехитрое древнее оружие, приостановился.

— Ну, подходи, гад, — череп размозжу! — едва слышно выдохнул Михаил.

Это был какой-то зловещий, шипящий свист. Михаил и сам не узнал своего голоса. Шерсть на шатуне вздыбилась. Он явно был в замешательстве и не знал, что делать. Под шкурой его перекачивались и вздувались круглые горбы мышц, раздувались и опадали мохнатые бока и с поразительной легкостью челнока, с виду неуклюжая, наделенная былинной силой туша молнией сновала из стороны в сторону. Ноздри у него растягивались, как резиновые, испуская прерывистое дыхание, утробный рык вырывался из пасти. Михаил еще крепче сжимал свое оружие и в любой миг готов был резануть воздух, чтобы нанести смертельный удар.

— Чего он хочет? Похоже выбирает момент для нападения! А ну-ка...! — и Михаил угрожает зверю колуном — оружием, испытанным человеком еще в далекой древности.

Шатун встал. Казалось, ему так лучше и он решает, кто перед ним: жертва или серьезный противник. Нет, похоже медведь не искал момента для нападения. Несмотря на охватившую его ярость и злость, он опасался человека и отступал, но просто так уходить тоже не хотел.

Непонятная природа медвежьего характера проявлялась и

здесь: Михаил знал — даже опытные дрессировщики всегда опасаются своих мохнатых учеников. Никогда не узнать, какие намерения имеются у этого зверя. У него почти отсутствует какая-либо мимика и к тому же неожиданно переменчив и раздражителен нрав. Спокойный и даже уравновешенный медведь по непонятным причинам в любой миг может прийти в ярость и стать опасным. То же самое сейчас демонстрировал шатун. Он то решался оставить человека, то вновь вздыбливал загривок, втягивал слегка округлые, глубоко упрятанные в шерсти уши, злобно сверкнув светлыми полукольцами глаз, почеловечески вставал, делал несколько шагов к Михаилу, то тут же, будто подчинившись скрытой властной силе, покорно отступал и снова шевелил влажными ноздрями, вынюхивая воздух.

Минуты эти Михаилу казались вечностью. Как жалел он сейчас, что при нем нет ружья. Но вот зверь боком пошел вдоль речки, направившись прямо к стогу сена. Шел он медленно, то и дело злобно оглядываясь. Михаил по-прежнему, не меняя положения, словно окаменевший, стоял в дверях с колуном наперевес.

— Пойти и спрятаться сейчас, это может послужить зверю знаком, что я пытаюсь скрыться, отступить. Если медведь ста нет ломиться в дверь, то все равно прои нет в избытку без труда. В ней не размахнешься, — рассуждал Михаил.

Метрах в тридцати от избышки медведь сид и зарычал, будто с досады. Протяжный, глуховатый рык исходил от охотника. В рыке звучала ослепленная яростью звериная сила, усталость от преследования, отчаяние и суровость могучего обладающего былинной силой, лесного зверя. Он остался один на один с зимой. На сотни километров — только снега. За ним охотился голод, гонящий к смерти.

Вот медведь пошел дальше. По-богатырски, широко расставив в локтях передние лапы, легко переваливаясь, он направился к стогу, где постоянно кормились лоси. Запах остановил его. Обнюхав провалы их следов, поеди, он пошел по натоптанной копытными тропе в тайгу, которая его и поглотила.

Михаил встал на чурбан, долго не спускал глаз с лосиной тропы. Наконец, решил зайти в избышку. Расслабившись, почувствовал мелкий озноб. Затопил печь и все выходил, вслушивался в чуткую морозную тишину. В каждом щелчке, шорохе слышался ему возвращающийся шатун. Опустилась ночь.

За ночь избышка нагрелась, но только под утро Михаил уснул.

Наступил день. Солнце давно уже светило в маленькое

окошко, а охотник все спал: сон успокоил нервы, снял усталость.

Проснулся Михаил неожиданно — ему приснилось, что пришел медведь, бродит около избушки и хочет задавить его в тесноте, как в норе. Охотник встал. Вдруг не во сне, а наяву он услышал тяжелые шаги по скрипучему на морозе снегу.

— Медведь! — сна как не бывало!

Михаил схватил колун, рванул дверь и выскочил из избушки, но... перед ним стоял отец. Он нашел его по следам.

Когда днем они возвращались в избушку, где осталось ружье, Михаил остановился и спросил:

— Почему же медведь на меня не бросился? Так упорно преследовал, а когда догнал, не бросился?

— Хищники всегда преследуют убегающего. У них действует инстинкт: «убегает, значит сильнее я!» — ответил отец. — Но ты остановился да еще поднял колун выше роста зверя. У медведя сработал другой инстинкт: «выше меня, значит сильнее он». Вот шатун и отступил, пошел искать легкой добычи.

## Синегорье

### Золотистая лента

Большую часть лета горные вершины казахстанского Алтая закрыты облаками. Почти каждый день там льют дожди. Лишь на короткое время сменяют их густые туманы. Редко бывает голубым небо и ярким солнце.

Мы стояли лагерем на альпийской лужайке. Уже много дней подряд, не переставая, моросил дождь. Кудлатые липкие облака, обдирая и без того изодранные бока о скалистые кручи и уступы, упорно карабкались вверх по склонам, к перевалам. Когда оказываешься в гуще таких облаков, все теряется из виду: в трех шагах ничего не видно. Бредешь, словно в молочно-седом мокром дыму, и, чтобы не сбиться с пути, приходится останавливаться и выжидать, пока облака не отступят или туман не рассеется. Иногда ждать приходится недолго: совершенно неожиданно мрак редет и расступается, небо ослепляет избытком света, неприветливые просторы на глазах преображаются. Мириадами искрящихся росинки вспыхивают цветущие альпийские луга, словно духи гор решили откупиться за все причиненные невзгоды. Но недолго наслаждаешься щедростью солнца и теплом. Вновь набегают облака, и горы погружаются в глубокий седой морок. И снова каменные ко-

с неба холодной воды, зябко подрагивая под ударами капель. Захлопнулись лепестки синне-голубых генциан, зажали в кулачки свои нежные лепестки водосборы, отвернулись от неба лютики. Весь мир посерел: горы стали унылыми, взбешенно рожучут речки, только вокруг разливается вместе с приступами дождя глуховатый шум тайги.

Дождь будто висит над горами целую вечность. Кажется, конца ему не будет. И вот, как счастливая неожиданность, среди дождевой завесы открылся голубой долгожданный кусочек неба. Кто первый заметит эту радость: птицы или цветы? Первыми оказались крошечные пеночки-зарнички. Стоило только поухнуть дождю, и каплям его стечь с шершавых скал, с обвисших кедровых ветвей, пеночки уже оставили свои уютные гнездышки, спрятанные в кочках и корнях карликовых березок, трясли крыльшками, висли, как бабочки, у макушек кедровых лап. «Цвири-цвири-цвири», — кричит пеночка в зарослях березы у осыпи. Так же звонко отвечает ей другая с верхних кедров. От крика их на душе становится светло и почему-то немного тоскливо. Светло потому, что дождь угомонился, небо очищается, тоскливо от того, что все вокруг сыро — тайга, гольцы и воздух — все насквозь промокло. Деться некуда, придется вместе с пеночками сушить одежду и надеяться, авось, и совсем дождь перестанет.

Снова — солнце. Щедрое и горячее. Веселеют умытые горы, прозрачными становятся дали. Снова раскрылись цветы. Кажется, от прихлынувшей радости на бархатистых виолах застыли синие-пресиние слезки. Ветер осторожно гладит их голочки, и они плачут, роняя слезы, от счастья. Жемчужинами светятся капли дождинок на лепестковых платьях горных ромашек-невяников, янтарем горят они на венчиках лютиков и золотыми кулонами свисают с горячих шаров огоньков алтайских. Горит и сверкает драгоценностями зеленый мир диких гор.

### Первый луч

В темном сыром пихтовнике ночью выпала обильная роса. Тронешь плечом куст — и душ не надо принимать. Пахнет в лесу прелой древесиной, отдает грибной плесенью и парящей землей. Но вот, осилив мохнатую лесистую сопку, показался ломтик солнца, и в тот же миг по пихтовнику хлестанул первый прорвавшийся луч. Он прошил светом застоявшийся сумрак, всколыхнул жизнь, таившуюся среди теснящихся темных стволов, завешенных сверху сплошным пологом, достав траву

и землю. В мрачной обители спящих иран: заиграли огоньками росин краски цветов, засияло отвисшее с паутины. Замелькали в косом луче комарики да бабочки. Тут же появилась шелкая клювом, принялась выхлупывать

Удивительно, как сразу первый тавил звучать все краски, скрыты

### Лесная «птица»

Выглянувшее из-за гор солнце и тень. Сажу на пеньке и наблюдаю света, побеждая мрак утреннего о-о-о! Ж-ж-ж-ж-и-и-и!

Кто такой, что так звонко и Опяты: у-у-у-у-о-о-о-о!

Несчастливой почему-то пока на волчий мотив. Звуки «у» и приходит ощущение чего-то теребра или басовитое жужжание жучка. Будто долгоиграющая шел и глазам не поверил: межвитками витков, паутина. Страшно играет. Заметил на одном ее витке крыльев не видно, а к ней хлестнет? Кажется, если мухе чужая заметная нить паутины. Да не натянута лапами, и сразу же как недалеко на другом паутиномарик. Едва-едва слышно «лесная пластинка». Опутал своего воздушного шалаша.

Еще и еще ходил я по лесу «пластинки», вслушивался живых летунов. Оказывается, сети насекомых, дольше и звонче даже не всегда ее услышишь

### О чем поет

Она шумит и шумит на ветки ели, остановились на голосый говор реченьки вни

и землю. В мрачной обители спящего леса засветился цветной экран: заиграли огоньками росинки, ожили и затеплились краски цветов, засияло отвисшее от влаги причудливое колесо паутины. Замелькали в косом луче вездесущие мошки и мушки, комарики да бабочки. Тут же появилась зелененькая пеночка и, шелкая клювом, принялась выхватывать летучую живность.

Удивительно, как сразу первый луч вызвал к жизни и заставил звучать все краски, скрытые ночным мраком.

### Лесная «пластинка»

Выглянувшее из-за гор солнце разделило мир надвое: свет и тень. Сажу на пеньке и наблюдаю, как заливает подоводье света, побеждая мрак утреннего леса. И вдруг: У-у-у-у! О-о-о-о-о! Ж-ж-ж-ж-и-и-и!

Кто такой, что так звонко и тонко тянет отчаянную песню? Опять: у-у-у-у-о-о-о-о!

Несчастливой почему-то показалась мне эта песня, похожей на волчий мотив. Звуки «у» и «о» тоску навевают, с ними приходит ощущение чего-то тревожного. Может, это песня ветра или басовитое жужжание жука. Невеселая музыка не кончается. Будто долгоиграющая пластинка. Стал искать. Нашел и глазам не поверил: между деревьев висит, сверкая лезвиями витков, паутинка. Странно то, что она не крутится, а играет. Заметил на одном ее витке — муха рвется изо всех сил, крыльев не видно, а к ней хозяйин-паучище подбирается. Что будет? Кажется, если мухе чуть поднатужиться, лопнет едва заметная нить паутины. Да не тут-то было! Обнял ее паук мохнатыми лапами, и сразу же песня оборвалась. Слышу теперь, как недалеко на другом паутинном диске звенит тщедушный комарик. Едва-едва слышно беднягу. Недолго звучала его «лесная пластинка». Опутал паук «певца» и уволок под свод своего воздушного шалаша.

Еще и еще ходил я по лесу и встречал подобные «играющие пластинки», вслушивался в разноголосые вопли незадачливых летунов. Оказывается, у крупных, попавшихся в паучьи сети насекомых, дольше и звучнее песня, у мелких — короткая, даже не всегда ее услышишь.

### О чем поведала реченька

Она шумит и шумит на все ущелье. Над ней опустили свои ветки ели, остановились на бережках молодые березки. Многоголосый говор реченьки внимательно слушали замшелые трух-

лявые пни. Слушают и соглашаются задумчивые ели, в своем согласии трепещут березки, во что-то поверив, жадно впитывают ее текучий разговор безжизненные пни. Сколько прошло времени, а она молодая, такая же шумная и красивая. Все также неустанно говорит, гремит, бурлит и воркует.

Околдовала она и меня звонкими струями, глаз не отвести. тоже присел и слушаю. Как натуралисту мне вроде бы проще догадаться, о чем поют птицы или шелчутся травы. А вот, о чем говорят речки — трудно. Но есть правило, что если захочешь чего-либо, всегда можно постичь, все в жизни оказывается возможным.

На всякий случай прикрыл глаза. Внимание обратил в слух, и тогда язык ее мне стал доступным. Оказывается, реченька и пела и рассказывала о далеких, убеленных вечным снегом и синими льдами горных вершинах, где она родилась. В торопливом говоре ее уловил шум и гром камнепадов, которые просыпаются с каждой весной, как только поползут подтаявшие лавины и ледники. Услышал в струях ее тугой свист верхних ветров, рассекающих крылья и грудь о холодные серые скалы. И еще уловил в звоне воды тоскливые крики высокогорных птиц, вьющих гнезда свои у ее истоков и быстрин, звонкие песни оляпки и горной трясогузки. В симфонию звуков птичьей разноголосицы врезался клекот падающего с высоты орла. А еще в сплошном шуме я слышал звон той первозданной тишины и вечный шелест далеких и вечных звезд. Рассказывала и пела реченька о белизне снегов, о цветущих огоньковых лужайках на ее бережках. И сразу я почувствовал снежное дыхание и еще больше поверил ей, когда хлебнул студеной воды, сбегавшей с вечно студеной снежников.

Увидев над бурлящим порогом семицветье радуги, вспомнил красочные альпийские луга. Все, о чем поведала реченька, была сущая правда, и не зря верили ей ветхие ели, трепетные березки и тухлявые пни, которым она рассказывала о прошлом, о будущем и настоящем. Я тоже всему поверил. И подумалось тогда: не потому ли часами мы, не уставая, смотрим на разбег реки, словно что-то вспоминая.

### Познакомились

У снежника начинались заросли карликовой березки, невысокие, лишь до колена. Но идти по ним трудно. Ступаешь на их искривленные, полулежачие и переплетенные между собой ветки, ноги путаются или же пружинят и толкают в противоположную сторону. Издали эти заросли походят на зеленый

войлок, пятнами, а местами и сплош верхогорья.

Такие обитатели карликовых джунки, азиатские бекасы и пеночки-зар человека. Поэтому за ними трудно и бы все-таки что-то узнать об этих п в гуще ветвей затаиваться и ждать, т выскакивал на открытое место или паруживал себя.

Однажды я залег среди кустиков где беспокойно крутились малопри пеночки. Кстати говоря, до сего вр ченные птицы Казахстана. Вокруг лась компания комаров. С нудными беспрестанно клеились к лицу и руден был сбивать докучливых кровс Первым заметил самец варакушки высочил из зарослей со вздернут том и замер на длинных ногах. вскидывал и опускал на спину хв гортанно «тявкал»: «кав-кав, так за сине-голубое ожерелье на его г блеском, за коричневую, похожую ку под горлом. В крупных глаза: вал бесноватый светлячок. Объяв гу, синегорлый соловей решил, что точно, и тут же исчез в зарослях.

— Так, — думаю, — сигнал тре ся еще кто-нибудь.

Долго ждать не пришлось. На тениях ветвей, замечаю кумачев чется оно в зарослях. Однако се не вижу. Он, как и варакушка, вает: «хав-хав!» Затем слышу : печальный свист: «ие-ие, ие-ие» на горле и крик принадлежат ловью-красношейке.

Исчез соловей, и на свидан ночка. Ее-то я и ждал больше уже слышно беспокойное пощел сохранять неподвижность. Это тенчиво усердствуют, пользуются жествуя, поминальные песни у нем, как мышь, пробирается к мне. Шатаются и вздрагивают

войлок, пятнами, а местами и сплошь покрывающий склоны верхогорья.

Такие обитатели карликовых джунглей, как белые курошатики, азиатские бекасы и пеночки-зарнички издали замечают человека. Поэтому за ними трудно наблюдать. Для того чтобы все-таки что-то узнать об этих птицах, приходилось лежать в гуще ветвей затаиваться и ждать, пока кто-нибудь из них не выскакивал на открытое место или еще как-нибудь иначе обнаруживал себя.

Однажды я залег среди кустиков у небольшой прогалины, где беспокойно крутились малоприметные крошечные бурые пеночки. Кстати говоря, до сего времени все еще мало изученные птицы Казахстана. Вокруг меня первым делом собралась компания комаров. С нудными заунывными напевами они беспрестанно клеились к лицу и рукам. Волей-неволей вынужден был сбивать докучливых кровососов. И этим выдал себя. Первым заметил самец варакушки. С шумом, как зверек, он выскочил из зарослей со вздернутым почти вертикально хвостом и замер на длинных ногах. Обеспокоенный, то и дело вскидывал и опускал на спину хвост и беспрестанно глухо и гортанно «тявкал»: «кав-кав, так-так». Взгляд мой цеплялся за сине-голубое ожерелье на его груди, отдающее фиолетовым блеском, за коричневую, похожую на кожаный медальон, вставку под горлом. В крупных глазах влажной росинкой вспыхивал бесноватый светлячок. Объявив вот таким образом тревогу, синегорлый соловей решил, что с его стороны и этого достаточно, и тут же исчез в зарослях.

— Так, — думаю, — сигнал тревоги подан, обязательно явится еще кто-нибудь.

Долго ждать не пришлось. На краю полянки, в густых сплетениях ветвей, замечает кумачевое пятнышко. Алым огнем мечется оно в зарослях. Однако самого обладателя яркой метки не вижу. Он, как и варакушка, глухо и недовольно покашливает: «хав-хав!» Затем слышу хорошо мне известный чистый печальный свист: «ие-ие, ие-ие». Понятно — красный пятачок на горле и крик принадлежат скрытому обитателю леса соловью-красношейке.

Исчез соловей, и на свидание пожаловала сама бурая пеночка. Ее-то я и ждал больше всех. Птички еще не видно, но уже слышно беспокойное пощелкивание: «что?-что?». Стараюсь сохранять неподвижность. Это на руку комарам: они беззастенчиво усердствуют, пользуясь моей смиренностью, поют, торжествуя, поминальные песни у самого уха. Пеночка тем временем, как мышь, пробирается в сплетениях ветвей поближе ко мне. Шатаются и вздрагивают совсем рядом ветки березок, а

птички не видно. Вот одна толкнулась несколько раз около самого уха и оказалась позади. Обошла кругом, и снова предо мной качаются ветки. Мельтешит то справа, то слева, а сама знай свое: «что? да что?» Будто я ей что-то сказал, она не расслышала, теперь спрашивает. Показаться не желает. Удивительная пичужка — непоседлива и шустра, как муха. Ни на миг не задержится на одном месте. Вижу только то глаз, то хвост мелькнет. Вскоре порядком надоело мне это свидание. Да и что за интерес комаров задаром кормить? Даже разглядеть не удалось, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать. Так я в тот раз и не увидел пеночки.

Вот так впервые и познакомились мы с ней, она меня со всех сторон оглядела, а я вовсе не видел ее. Слишком осторожная непоседа.

Так было не раз до тех пор, пока я не нашел гнездо, очень похожее на соломенный шар, спрятанный в глубине ветвей. Некуда было деваться пеночкам — малышей кормить надо. Вынуждены были потерять на время осторожность. Тогда-то мне и удалось не только сфотографировать их, но и многое узнать из их маленькой незаметной жизни, которая проходит у горных вершин в карликовых зарослях березки.

### Дупелиное болото

Лес поредел. Впереди — небольшое кочкарниковое болото, окруженное мелким березняком, среди него там и сям выбивались одинокие ели. Мохнатые, поросшие осокой кочки, высокие и зыбкие, походили на шаткие верблюжьи горбы. Между ними поблескивала тусклая неподвижная вода. Тучи закрыли небо, и закрапал мелкий холодный дождь. Чтобы укрыться от ненастья, я забрался под ближнюю ель. Под расклеванным темно-зеленым сарафаном ее было сухо и даже уютно. Дождь еще сильнее, отчетливее стал язык переговаривающихся клейких листочков берез, по которым ударяли дождевики.

Вдруг в сером водотоющем небе совершенно неожиданно загудел падающий «снаряд». За две-три секунды звук, нарастая, перешел в сплошное жужжание. Я ждал, что вот-вот ахнет оглушительный взрыв. Одновременно заметил, как высоко в небе к болоту падало небольшое, но с каждой секундой растущее тело. И вот едва не коснувшись верхушек деревьев, оно легко отпрянуло. Раздался визжащий хриплый крик, и какое-то пернатое создание небольшими кругами стало быстро ввинчиваться в холодное небо. В живом пугающем снаряде я узнал одного из обычных куликов горной тайги — лесного

страиваю бинокль и тщательно всматриваюсь в снег около одиноко стоящей настороженной самки. Въедаюсь глазами в каждый штрих-черточку и выпуклость. К каждому бугорку присматриваюсь. Никого! Одна!

Даже злюсь, что столько времени зря потерял. Встаю из укрытия и медленно иду к птице. И опять незадача: она выбегает на голую тундру, а следом — самец. Птицы вновь затаиваются. И опять вижу: белой булкой лежит он, а она как сквозь землю провалилась. С телевизором на взводе осторожно подхожу. Вдруг да самка обнаружится! Тогда и щелкну вместе. Обнадежив себя, усаживаюсь метрах в двадцати. Прошло немало времени, а ее нет. Вот тут-то осады моей не выдержал «соперник». Он встал и, возбужденно дергая хвостом, вытянув палкой шею, пошел прочь, а как только ступил на снег, словно на белой фотографической бумаге, проявилась она.

Вот так парочка! Шапкой-невидимкой будто накрываются. На снегу надевает ее куропач, на земле — его серая подруга. Получается шапка-то одна на двоих. Так мне и не удалось в тот раз снять этих ~~как~~ непохожих по окраске птиц вместе.

Несколько позже я узнал, почему тундряные куропатки весной в брачное время по-разному окрашены. Оказывается, после любовных игр, самкам вскоре же приходится садиться на гнезда, устроенные в зелени тундры среди камней, а то и прямо в осыпях под нависающим кустиком стланика или жимолости щетинистой, растущей на безотрадных камнях. В такой обстановке белое платье ее было бы заметно, а серое великолепно маскирует. Совсем другое дело самец. У этих куропаток, в отличие от ближайших родственников — белых, — они не принимают участия в насиживании яиц и даже в воспитании птенцов.

Самцы остаются такими же гордыми холостяками и, подобно отшельникам, уходят на вершины, где еще долго лежат сплошные снега, а ночами бывают приличные заморозки. Там, среди снегов и каменных россыпей, они живут либо поодиночке, либо собираются группами, и белое перо спасает их от глаз хищников. Наиболее излюбленные места их пребывания в это время — беспорядочно рассыпанные каменные глыбы. В них легко укрываться от непогоды и маскироваться. Белая «шуба» выручает во всех случаях. А когда и на вершины придет тепло, они начнут постепенно переодеваться в серое перо. Однако весна и лето на этих высотах предельно коротки. И самцы не успевают окончательно перекраситься в летний цвет. Лето кончается, и без осени наступает зима, на спины гор ложатся первые устойчивые снега, а на самцах уже снова белое зимнее оперение до следующей весны.

## Неприступный кедр

Осенние кедры, густые и древние, стояли, развесив тучные кроны над шумливой рекой Разливанкой, безумолчно поющей о том, что рожденная в Ивановских белках, она обязательно добежит и увидит большое море-океан. Кедры стояли молча, вслушиваясь в ее песни, словно пытаясь осмыслить, что это за море-океан и зачем это так она спешит. К ним уже подкралась осень, и поэтому созревшие шишки были сбиты. Белки и кедровки — большие «специалисты» по кедровым шишкам. Знают цену им бурундуки да шуры, обирают их усердно и люди. А тут прямо у дороги стоит дерево-великан. На лохматых лапах, как дар солнцу, несет свои округлые плоды. Смолистые, в пестрой чешуе, они походили на стайку неизвестных кургузых птиц, присевших отдохнуть на его вершину.

— Странно, — думаю, — везде кедры стоят уже обитые, а тут полно шишек?

Сбросив штурмовку, чтобы не испачкаться в смоле, по пояс раздетый, я полез, как по лесенке, по его ветвям. Когда до вершины оставалось не более трех-четырёх метров, внезапная острая боль обожгла глаза. От приступа жгучей рези чуть было не свалился с дерева.

— В чем дело? — не мог догадаться.

Боль вскоре прошла. Осторожно протираю глаза, вроде бы все нормально. Но стоит лишь глянуть вверх, как в тот же миг словно кто-то специально швырнул мне опять в глаза горсть мелко толченого и смоченного в уксусе стекла. Боль была нестерпимой. А по лицу и груди текла источающая удушающий запах жидкость. Кое-как проморгался. Вверх смотреть не решаюсь. Внимательно оглядываю перед собой ствол и ветки. Они, оказывается, сплошь облеплены муравьями. Их здесь тысячи, десятки, а, может быть, и сотни тысяч. От них будто шевелилась кора. Муравьи, как обычно, суетились по своим делам и, казалось, не проявляли сколько-нибудь заметной тревоги, связанной с моим появлением. Однако все они были на чеку, и малейшее движение с моей стороны сразу же замечалось ими. Стоило мне пошевелиться, как несметная шестиногая армия, словно по команде, подтягивала вперед себя толстые, похожие на ячменные зерна животы и тотчас выстреливала в меня струей едкой и пахучей муравьиной кислоты.

— Ага, вот в чем причина боли в глазах и неприкосновенности кедра!

На этом дереве поселилась большая колония лесных муравьев, которые не давали четвероногим почитателям кедровых

орехов и людям тоже забраться на вершину облюбованного ими кедр.

Вероятно, все посетившие до меня этот кедр «шишкар» вынуждены были как можно скорее оставить злополучное дерево. Спускаясь, я даже боялся поднять глаза. Оказавшись на земле, я поспешил к Развалинке, так как от меня нестерпимо разило вонью потревоженного муравейника.

Известно, что муравьи, защищая свой дом и попадая на непрошенных гостей, вроде меня, впадают в них или в свою жертву своими острыми грызущими челюстями, с откровенным желанием оттяпать хотя бы кусочек мяса. Челюсти их, несмотря на малый рост, достаточно сильны, орудуя они ими умело, как кусачками. Мало того, прокусив кожу, они тут же подгибают вперед брюшко и поливают ранку кислотой, что причиняет острую боль и заставляет противника ретироваться. Интересно, что эти кусачие оккупанты, осадившие кедр и отлично приспособившиеся защищать его с высоты не в пример другим своим родичам, имеющим слабое зрение, оказывается, прекрасно видели меня на расстоянии и, уловив мои движения, тотчас, как снайперы, метко стреляли, поражая на расстоянии воючей и едкой струей.

Убираясь восвояси, я не сомневался, что шишки этого кедр останутся целехонькими до самых холодов, пока муравьи не скроются у основания его в своей зимней обители.

### «Притворяшка»

Ранним утром я проходил склон, сплошь усыпанный камнями. Из-под ног моих взлетела ничем не примечательная серая ночная бабочка и бестолково, как около лампочки, закружилась, не зная что делать: или улететь, или спрятаться обратно в камни. Пытаясь поймать и промазав, я хлопнул пустыми ладонями. И вот удивительно! Бабочка, словно сраженная выстрелом, замертво упала в камни.

— Неужто зашиб?— думал я, разбирая камни, чтобы посмотреть бабочку-неудачницу.

Но каждый раз, как только добирался до нее, какая-то неведомая сила подталкивала ее вглубь темнеющих щелей меж холодных камней. Так я ее и не достал, потерял. Прошло некоторое время и опять пробирался я каменной осыпью. Снова — похожая бабочка. Я вновь хлопнул ладошками, и все повторилось\* бабочка упала. На этот раз удалось без труда извлечь притворицу. Почувствовав, что попалась, она разом

ожила и, пыля чешуйками с крыльев, рвалась на волю. Я открыл ладонь. Без всякого притворства она улетела.

У меня не было сомнения, что это пример оригинального способа самосохранения. Получив сигнал об опасности, звук или воздушную волну, отражаемую хищником, бабочка тотчас же падает в каменные щели или в траву. А там попробуй отыскать неприметное серое существо. Я нашел в литературе сведения о подобном поведении одного вида бабочки: она, уловив ультразвук, посылаемый ночной охотницей за насекомыми — летучей мышью, — спасается таким же образом — мгновенно, как подстреленная, падает.

### Тише — ворон!

Ворон в алтайских горах — птица редкая. Более того, до сего времени он остается все еще малоизученным. Мне за многие годы, посвященные орнитологическим изысканиям в самых отдаленных горных уголках, приходилось встречаться с его выводками. Гнездится он в высоких частях гор, вероятно, в редкостойных кедровиках и лиственничниках, выходящих к самым вершинам хребтов. Если на десяток-другой километров встретишь пару их, считай повезло.

Ворон — не черная ворона, которую иногда считают самым серой вороны. Ворон есть ворон, это самостоятельный и древний вид. От черной вороны прежде всего он отличается своими крупными размерами, и не будет преувеличением сказать, что ворон почти в два раза крупнее ее. Хвост у него в полете округлый за счет удлиненных средних рулевых перьев. У ворон — прямосрезанный. В полете ворона, особенно когда он часами парит над дикими горными вершинами, есть что-то орлиное. И когда видишь его, то сразу понятно, что дело имеешь с могучей птицей. Обращает внимание его крик: это далеко слышное грозное и строгое коруканье.

Бывает, что птиц еще не замечаешь, но за многие километры в обширных и безлюдных просторах нагорных тундр слышишь их голоса. Иногда встречаешь не спеша летящую деловитую пару. Более заметными они становятся летом, когда летают вместе с молодняком. За многие десятки километров от деревень и сел вдруг совершенно неожиданно можно услышать — будто перекликаются заблудившиеся люди. Если вооружиться биноклем и тщательно осмотреть каждый склон или гору в той стороне, откуда слышались непонятные призывные голоса, то обнаружить высоко-высоко кружащихся воронов. Это кричат они. Величественно и не спеша машут длин-

ными крыльями, отливающими легкой синевой, и «переговариваются».

Должно быть, у них мало врагов. Редко кто рискнет сунуться к птице с могучим режущим клювом. Так, однажды я наблюдал пару воронов, низко летевшую над зелеными просторами высокогорий. Тут их с высоты стал настигать крупный сокол-балобан, очень светлой пестрой окраски. Такие здесь встречаются нечасто. При его нападении вороны без скольконибудь заметной паники выставляли навстречу ему свои, словно лакированные, черные когтистые лапы, но чаще балобан встречался с их могучими клювами. По-видимому, он защищал гнездо, устроенное где-то поблизости. Вороны не уступили, не сменили направления и не прибавили скорости, спокойно летели, пока сокол не отстал. А ведь этого хищника панически боятся другие птицы.

По отношению к человеку вороны весьма и весьма осторожны, о чем хорошо знают орнитологи. Поэтому добыть ворона непросто, нелегко. По крайней мере так эти птицы ведут себя на Алтае. Чтобы заполучить его, нужен случай. По крайней мере я не раз оказывался неудачником. Завидев меня, вороны тотчас разгадывали мои намерения и ближе трехсот метров не подпускали. Пытался я подойти скрадом, но и тогда птица уходила, проявляя необычную смекалистость.

Каждый раз при виде ворона у меня, как у азартного охотника, появлялась дрожь нетерпения. Едва завидев большую черную птицу, тотчас бросался в укрытие, стараясь стать незаметным, а спутникам своим машинально бросал: «Тише, ворон!» Такая же реакция возникла у меня даже, когда я был совершенно один. Охотясь за вороном, убедился, что он далеко не глуп.

Произошло это во время очередной экспедиции в горы Западного Алтая. С молодым орнитологом Колей мы пробирались коридорами причудливых гранитных останцев, венчающих вершину Линейного хребта, в том месте, где он вплотную подходит к могучему горному кряжу — Холзун. Решив передохнуть, сбросили рюкзаки и присели на чистый зернистый песок, надутый к основанию причудливой гранитной громады, похожей на голову спящего рыцаря в шлеме. В чуткой тишине слышен малейший шорох. Вдруг среди ближайших скал черной тенью проскользнул силуэт ворона. В клюве у него я заметил комочек с длинным шнурком-хвостиком — добычей была мышь или полевка. Ворон присел на уступе одиночной скалы и принялся разделяться с жертвой. Казалось, сама судьба послала нам случай добыть его. Птица всецело поглощена трапезой. Скрываясь за скалами, можно вплотную подойти к ней.

Мгновенно сбрасываем с себя походную амуницию. Чтоб идти бесшумно, быстро стаскиваю сапоги и остаюсь в носках. Шепотом переговариваясь, мы условились: если ворон заметит меня, то на пути его полета в засаде будет поджидать Коля. Все рассчитано до тонкостей. Оставалось только успеть, подойти пока он закусывает грызуном. Иду на носках, сдерживая дыхание. Ступаю осторожно, чтобы не хрустнула веточка или не скрипнул песок. По моим расчетам, остается уже не более пятидесяти метров. Удваиваю осторожность, мягко и бесшумно ступаю по крупному гранитному песку. Тишина — за километр слышно, как вздыхают оседающие снежинки или срывается с кручи небольшой камень. Мне кажется, что также далеко слышно, как стучит от волнения сердце.

Вдруг, откуда ни возьмись, с идиотским своим цвирканьем, возбужденно дергая взъерошенным хвостом, из-под самых ног у меня выскакивает испуганный бурундук. Очутившись на вершине небольшой скалы, недоумевая, откуда я взялся, он еще несколько раз цвиркнул и нырнул под скалу. С досады грожу ему кулаком и про себя ругаю проклятую выскочку:

— Сидел бы у себя дома, в лесу, где путные бурундуки живут, так нет — он тут поселился. Чего здесь надо? Как жить на полуголой каменной вершине!

Впереди показался бок той самой скалы, где сидел ворон. Осторожно выглядываю:

— Ага, вот то самое место!

Но на удивление — никого. По-прежнему, соблюдая осторожность, быстро обхожу свою скалу. Ворона, оказывается, уже и след простыл. Куда же мог подеваться? Не ошибся ли? Убеждаюсь: скала та самая, рассуждаю:

— Если улетел, то почему Коля не стрелял?

И вдруг слышу: хрруу-у-у! ай-ай! Ворон сидит в двухстах метрах уже на вершине другой скалы и не без любопытства наблюдает, как я скрадываю его. Он издевательски кричит с явным намерением высмеять нас, вскидывает крылья и снова кричит. В этот момент в криках слышалась откровенная насмешка: «Ха-ха! Ты меня там ищешь, а я-то вот он!» В этот миг я, как никогда в жизни, понял, что недооценивал его смекалку и даже ум. Ворон оказался более осторожным и смысленным, чем я до сих пор об этом думал. Наблюдая иногда в поведении животных подобные моменты, достаточно четко характеризующие их житейскую мудрость, всегда удивляюсь, сопоставляю, как мы, люди, часто очень легко судим о глупости или мудрости животных. Например, россомаха способна в охотничьей хитрости состязаться с самыми опытными охотниками, которым понадобились годы, чтобы овладеть этим мастерст-

вом. К примеру, сорока или ворона недосыгаема для человека с ружьем. Подобных примеров немало, если быть чуточку повнимательнее к живущим с нами на земле.

В нашем случае, ворон «перехитрил» нас, хотя и можно подозревать, что помог ему этот заполошный «ябедник» бурундучишка. Его тревожный крик и послужил, вероятно, сигналом для наблюдательного, умудренного опытом ворона. Он не только понял, что именно ему грозит опасность, но узнал и откуда.

Из-за скалы выходит Коля, на лице его такое недоумение, словно его кто-то обругал. А ворон вскидывает свои темные крылья и кричит свое «хррр-у-у-ай-ай!» Прошла досада первых минут, отчетливо осознав его превосходство и наше поражение, мы от души смеемся. Возвращаемся к месту, где оставлены наши походные вещи. Я обуваюсь, а высоко в небе уже кружит ворон, он поднялся специально так высоко, чтобы видеть, что мы делаем, и опять слышу его издевательские крики, похожие на голоса людей, заблудившихся у диких вершин Алтая.

### Кто — кого!

Непередаваемое удовольствие бродить в одиночку по высокогорным болотам. Издали они кажутся однообразными, вблизи — совсем другое: осоковые кочкарники сменяются проточными лужайками, россыпи алтайских огоньков уступают изумрудно-зеленым замшелым мхам, вместо искрящихся бубенчиков пушицы встают густые сплетения зарослей карликовой березки. Очень притягательны для натуралиста эти болота еще и тем, что здесь можно поднять бекаса или более редкого лесного дупеля. За многие годы скитаний в верхнем поясе гор Алтая для меня все стало здесь привычным. Я привык к тому, что из-под ног взлетают быстрые кулики. Но каждый раз, как только порхнет дупель, сердце от неожиданности останавливается.

Он серый, как перепелка, и так же, как она, стремительно летит. Рассмотреть не успеешь, а он в вихляющем полете скрылся уже за увалом. Кроме окраски, успеваешь заметить только длинный бекасиный клюв и рыжеватую полосу на хвосте. Крик у него тоже бекасиный — «кхаак, кхаак!» До сих пор о жизни этого кулика натуралистам известно немного. И все потому, что когда он на земле, наблюдать за ним невозможно. Он ловко прячется в густой траве, как только завидит человека. К тому же лесной дупель ведет сумеречный образ жизни. Вот и попробуй узнать что-либо из его жизни.

Однако время и настойчивость орнитологов делают свое дело. Мне, например, удалось найти несколько гнезд, а также птенцов и многое еще, касающееся этой птицы. Если дупель, поднявшись, стремительно улетел по прямой вдаль или скрылся за ближайшей сопкой, значит здесь он кормился или отдыхал. На илистой почве нетрудно отыскать дырочки-потычки, которые он оставляет, извлекая дождевых червей и другую живность. А вот место, где он сидел, здесь остались капли белого помета, пестрое упавшее перышко. Если же взлетевшая птица вскоре же села, то где-то у него недалеко подруга или гнездовой участок. Когда уже есть гнездо, то кулик делает небольшой полукруг, садится, пригибаясь, бежит к нему. Только и видно, как шевелится раздвигаемая трава. Бывает, что взлетит, а ноги, словно у коростеля, болтаются. Также нескладно работают крылья. Пролетев несколько десятков метров, а то и меньше, падает в траву, бьется и крутится на месте, волочит ногу, знай — птенцы рядом.

Увидеть, как он кормится — редко кому удается. Он замечает наблюдателя с почтительного расстояния, затаивается в густой траве. Наступишь на него, тогда увидишь.

Но вот однажды мне повезло: выхожу из редких кедрочек на болото, и сразу же из-под ног — дупель. После нескольких взмахов опустился.

— Ага, — думаю, — где-то здесь у тебя пара...

Дупель сидел в редком осочнике. В бинокль отчетливо вижу как он, подобно змее, вьется меж кустиков и воровато крадется в мою сторону.

— Точно, где-то подруга!

Самая пора — выбираю момент. Только кулик показался на прогалине, в тот же момент делаю несколько шагов в его сторону и тем самым прижимаю его. Он ложится и затаивается. Надеется, что я пройду. Это мне и надо. Вижу его, как на ладони, а он по привычке считает, что остается незамеченным. Разделяют нас не более десяти метров. Тут же поудобнее сажусь на сухую колодину.

Дупель втянул голову, расчерченную светлыми и темными дорожками, будто спинка бурундука. Он сидел ко мне чуть боком и из-под полосатой его шапочки смотрел черный, как смородина, глаз. Клюв, длинный, в палец, торчит сухой травинкой.

— Кого же, — думаю, — напоминает?

И сам удивляюсь нелепому сходству — дупель походил на маленький игрушечный танк, раскрашенный в маскирующие расчленяющие полосы: туловище, как корпус, голова — башня, вместо ствола — длинный клюв. В башне отверстие —

глаз; и похоже, что кто-то из него пристально наблюдает за всем, что делается вокруг, и особенно за мной.

Сидим. Времени прошло немало. Солнце оказалось сбоку. А я по-прежнему — посреди осокового болота на сухой колодине. Чтобы не терять зря время, делаю дневниковые записи и поглядываю на него. Сколько ни сижу, а он — никаких признаков жизни, только пристально смотрит.

— Ну, что ж, — думаю, — времени сегодня у меня достаточно, будем в гляделки играть, посмотрим, кто-кого?

Засек время на часах. Прошел еще час, а дупель все сидит, как неживой. Позы не изменил, глазом не моргнул. Заметил, только на головке у затылка появилась темная черточка тени от листочка осоки, стоящей со стороны солнца. Двигается по небу солнце, и черточка тоже медленно перемещается от темени к клюву. Идет время — тень уже переползла через глаз, а птица не шелохнется. Никаких признаков жизни, а тень до клюва добирается.

Глянул на часы, часовая стрелка к шести ползет. Уже все записи сделал, сижу как истукан и никаких тебе наблюдений. А он даже моргнуть не желает.

— Неужели так и будет сидеть до ночи и тарашить свой круглый бестолковый глаз?

Посмотрел и сравнение его с игрушечным танком показалось мне нелепым. Теперь выражение его напоминало мне удивленного пустоглазого человека.

День сворачивается — полоска тени по клюву ползет. И сколько еще уйдет времени, пока она до кончика его доберется? Клюв-то длинный!

— Ну, хватит, — решаю я. — Ты дома, на своем болоте, а мне до лагеря не менее пяти километров по болоту шлепать. Хватит гляделок! Сдаюсь!

Встаю и иду в его сторону. И опять как-то неожиданно взлетает этот злополучный дупель. Делает небольшой полукруг над болотом и снова садится, намерен до темноты играть со мной в гляделки.

Под сапогами чавкает жижа. Пахнет давленным луком Ледебура. Перед глазами затаившийся дупель с выпученными человеческими глазами, а в них — удивление и готовность хоть вечность просидеть неподвижно.

### «Трясуны»

Приспособиться к жизни в голых каменистых россыпях, в гольцах, где даже летом свирепствуют ветры, по ночам — заморозки, очень нелегко, а для ничтожных пауков — просто «под-

виг». У этих обитателей каменных «джунглей» вообще немало смертельных врагов. Поэтому они вынуждены суметь защититься, чтобы выжить.

Жизнь среди голых камней полна всевозможных превратностей: за ночь россыпи предельно остывают, днем распалываются от солнца. Но пауки в этих условиях чувствуют себя отлично и чуть ли не все глубокие провалы меж камней затянуты их ловчими сетями. В центре сети они выстраивают воздушный «шалаш», который висит на тонких паутинках. Внешне жилище паука напоминает кокон. Здесь он и проводит все свое время в ожидании охотничьего счастья. В шалаше свои микроусловия, помогающие переносить паукам резкую смену температур. Крыша над головой тоже очень нужна от дождя и снега. На тонких липких паутинках ловчей сети можно собрать приличную коллекцию разных комариков, мушек и мелких ночных бабочек-молей, от которых остаются лишь пустые шкурки да невесомые крылышки. Нутро насекомых выпивается ненасытными пауками.

Часты холодные ветры на горных вершинах. Когда проходишь осыпями, на глаза попадают полуоборванные большие и малые трясущиеся на ветру паучьи снасти. И вот непонятно: в тихие безветренные часы тенета как-то странно сами по себе дрожат меж камней. Долгое время я считал, что виноват неуловимый поток воздуха. Озадачивало, что обрывки сетей, оставленные пауками, неподвижны, а их «жилые комнаты» трясутся особенно сильно. Решив проверить в чем дело, я подошел специально к одной из паутин, закрывающей вход в каменную нишу. Она спокойно, мирно искрится под ярким светом. Как только оказываешься вблизи, она качается, трясется да так, что «шалаш», в котором сидит паук, от сильной тряски обретает неясное расплывчатое очертание. Потом внезапно сеть успокаивается. Тяну руку, на паука падает тень, и опять отчаянно лихорадит сеть. Вот в чем дело! Это сами пауки трясут свои сети. Еще несколько раз проверил: когда расстояние между мной и паутиной становилось критическим, паук принимался вибрировать вместе с ней. Тряска начиналась даже от того, что на них падала тень.

Теперь ясно: с появлением какой-нибудь безобидной с виду личужки, способной стянуть и приглотить мелкотелого паука, он либо отпугивал ее своей снастью, либо в тряске размазывал очертания себя самого и дома, где отсиживался. Птичка улетала не солоно хлебавши.

Нехитрый способ защиты, но он оправдан жизнью. Верный ему судья — естественный отбор, длящийся многие-многие тысячелетия.

## Хрустан

Во время майской экспедиции, проходившей в Зайсанской котловине, мы внимательно осматривали открывающиеся перед нами долины с надеждой увидеть дроф или стрепетов. Прошла целая неделя, проделаны сотни километров, но увя! Времена, когда эти крупные птицы были обычными на призайсанских просторах, канули в Лету. И вот, однажды замечаем, как вдоль дороги, по которой мчится наш «газик», летит у самой земли, оживленно «переговариваясь», стайка неизвестных нам острокрылых птиц. Прямо на ходу удается добыть одну из них для орнитологической коллекции. Каково же было удивление — в добытой птице мы узнали обитателя высокоширотных и нагорных тундр Южной Сибири и Алтая — кулика-хрустана. Из литературы об этом виде известно, что на гнездовании находили его в Казахстане и в Волжско-Уральских степях. Кстати, в начале нашего века найден он был также на убеленных снегами вершинах Курчумского хребта, в горах Азутау и Южного Алтая, виднеющихся из полупустынь Зайсанской котловины. Весна в горные тундры приходит поздно, поэтому мы и не удивились, что хрустаны на пролете, хотя уже шла вторая половина мая. В это время другие кулики, населяющие берега равнинных рек и озер, уже построили гнезда, у некоторых появились яйца.

Много воды утекло с тех пор, но первая встреча с замечательными куликами навсегда связана с воспоминаниями именно о той стайке, летящей у самой земли над сухими степями Зайсанской котловины.

Однажды, во время очередной орнитологической экспедиции, мы с приятелем Юрием Котуховым, ботаником по профессии, вышли в пояс гольцов на одну из вершин Ивановского бела, названную здесь Крестовой. Сбросили рюкзаки и еще некоторое время приходили в себя, наслаждаясь прохладой, идущей от снежников. Отсюда во все стороны глазу открывалась великолепная горная панорама Западного или Рудного Алтая. Недаром исследователи, посетившие Алтай, назвали эту вершину «Панорама». Величие горных гребней, окутанных синеватой дымкой, поражает. Можно часами наслаждаться сиянием вечных снегов, задумчивостью бесплодных каменистых россыпей и красочностью альпийских лужаек. Ниже гольцового пояса — фиолетовая мрачная пихтово-кедровая тайга. По изумрудно-зеленым склонам и лесистым щелям серебристой волнующей паутиной сверкали реки. Издали они кажутся спокойными, словно нарисованы, хотя вблизи искрятся и брызжут водопады и пороги. Вокруг места, где мы в это время отдыха-

ли, разбросаны были щебенка и валуны, среди которых зеленели махровые куртинки куропаточьей травы, украшенные белозвездными цветками. Неотвязное чувство первозданности и вековой отрешенности навевают подоблачные задумчивые вершины. Тишину нарушают лишь тугие режущие ветры, а когда тихо, далеко слышен рокот многочисленных, сбегających далеко вниз речек, да тоскливые тонкие голоса гималайских завирушек. Иногда, громко чирикая, словно случайно залетала сюда заблудшая стая ворсбьев, пролетали гималайские выюры или же взволнованно, дергая хвостом, кокала серая, как камни, убегающая тундряная куропатка.

Отдохнув, без рюкзаков, налегке идем с Юрием осматривать вершину. Юрий с гербарной папкой впереди внимательно оглядывает низкорослые травы. На время останавливается, выкапывает нужные и тут же, сделав записи, укладывает их в гербарную сетку. Осматриваю в бинокль горы и отмечаю встречаемых птиц. И вдруг Юрий молча отчаянно жестикулирует мне, чтобы я поспешил. Бегу к нему, а он, словно испугавшись меня, — в сторону. Я — за ним, он — от меня и все машет рукой. Тут замечаю, как перед ним, пригибаясь к земле, сутулясь и спотыкаясь, семенит буроватая сверху птица, величиной почти с голубя. Незнакомка бежит и падает за камни, трясет крыльями, будто вот-вот испустит дух, но вновь спохватывается, довольно ловко лавируя меж камней, бежит. И вдруг, оказавшись в двадцати метрах от нас, останавливается, вытягивает шею и делает головой несколько порывистых кивков. И тотчас в беглянке узнаем хрустана. Сделав несколько стремительных перебежек, хрустан легко взмывает с журчащим приятным криком над вершиной и стремительно падает в межгорный провал.

— Где заметил его? — спрашиваю Юрия.

— Пойдем. Там ледоруб оставил, — он показывает рукой, куда идти.

Подходим туда, где, по его соображениям, он поднял кулика. Место вроде бы это, а ледоруб куда-то запропастился. Начинаем поиски ледоруба. Нет его, словно сквозь землю ушел. Несколько долгих минут колесим по округлой вершине взад и вперед, пока не находим пропажу. Но странное дело: перед нами опять будто из камня вырос хрустан. Крылья и хвост его распушены. Кулик явно делал все возможное, чтобы отвести нас от гнезда. Значит оно где-то здесь. И мы приступили к его поиску, наперед зная, что почти все кулики нерадивые гнездостроители, но найти кладку или птеников бывает вовсе нелегко. Мы очень внимательны, чтобы случайно не наступить на

его гнездо, с опаской ставим ноги, въедаясь глазами в каждый камень, каждую западинку.

— Надо искать, — где-то здесь, около ножа ледоруба, — говорит Юрий.

И мы молча начинаем поиски. А хрустан, пытаясь отвлечь наше внимание, а затем увести подальше от этого места, поднимает оба крыла, широко разводит перья хвоста, обнажив доселе невидимый светлый рисунок. Особенно привлекает широкая светлая кайма на хвосте. Птица вдруг вскакивает на камень, падает за него и ползает по кругу, помогая крыльями, бьет ими и тревожно, подобно летящей вдали пустельге, пронзительно кричит. Со стороны кажется, что он парализован, не может взлететь и бьется в предсмертных конвульсиях. Невольно какие-то импульсы подталкивают, возникает желание подбежать и поймать. Но вспоминали, что это инстинкт, направленный на то, чтобы отвести опасность на себя, так и рассчитано это представление хрустаном. На эту удочку поддаются хищники, наткнувшись на гнездо. Они бросаются на птицу, которая умеет ловко, на нужное расстояние удалить опасность. Преследователь, горящий желанием поймать, бросается за ней, что собственно и нужно отводящей от гнезда птице.

Так и сейчас, как только до кулика оставалось два-три шага, он словно черпает из таинственного источника силы и стремительно мчится прочь, петляя среди камней. А отбежав и видя, что преследователь поотстал, он вновь входит в роль раненой птицы: бьется оземь и волочит «парализованные» ноги. Проходит время, а гнезда мы найти не можем. Хрустан со своей стороны тоже убеждается, что мы не очень-то клюем на его маневры и ухищрения, вдруг резко меняет поведение: он перестает водить нас за нос, вытягивается, привстав почти на цыпочки, и, быстро перебирая лапками, не бежит, а катится в нашу сторону. На мгновение вроде бы в нерешительности останавливается около осоковой куртинки и в следующий миг забегает в ее круг, расставляет почти на уровне плеч стройные ноги, словно собрался заняться физзарядкой, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Затем топорщит на брюшке перья, и мы замечаем, что под ним лежат яйца, на которые он так демонстративно опустился. Прикрыв кладку, птица еще некоторое время умащивается на них, покачиваясь из стороны в сторону. Затем плотно прижимает крылья, втягивает шею и на глазах как бы пропадает из виду.

Теперь будто вросшую в землю птицу, сидящую с отрешенным видом, заметить не так-то просто. Осторожно, чтобы не испугать ее резким движением, подходим и присаживаемся около. Только сейчас я имею возможность разглядеть этого

удивительного кулика: у него крупнолобая, высокая головка с коротким темным клювом, как и у остальных ржанковых куликов, к семейству которых он и относится. Широкая светлая полоса — «бровь» — подчеркивает печальное выражение его крупных и великолепных в своей печали темных глаз. Каждое перо однотонно-буроватой спины заострено; опахала их взяты в светлые и кофейные каемки, отчего спинка его кажется одетой в чешуйчатые латы. Особенно красива грудка хрустана, она ярко-рыжая, также раскрашен зоб. Все это придает ему заметные отличия и многоцветность. Ниже рыжей полосы — черная полоска, как ожерелье, обрезает яркий зоб, за ней — перо несколько светлее и образует беловатую полоску. Опять черное пятно-«заплата» смотрится очень контрастно на белизне перьев. Лапки хрустана зеленовато-серые с легкой желтизной, имеющие вместо обычных четырех всего три пальца. Вот поэтому, когда он стоит вытянувшись, создается впечатление, что кулик встает на носочки.

Но, пожалуй, самое главное достоинство ног его — скорость. При беге они мелькают, словно спицы велосипедного колеса. Мы с Юрием имели возможность убедиться, как быстро они способны носить своего хозяина даже среди каменных валунов, щебня и низкой травы.

Встреченный нами кулик — редкая птица Казахстана. Поэтому до сего времени на обширной территории республики не было найдено ни одного гнезда хрустана. Если говорить о месте, где нами он встречен, то уместно сообщить следующее: здесь же у Лениногорска его отмечали в начале прошлого века. Но затем его здесь никто больше не находил. И вот встреча, да еще и гнездовье! Находка, конечно, интересная!

Хрустан — одна из немногих птиц, у которых главная ответственность, связанная с насиживанием яиц, выведением и воспитанием птенцов полностью ложится на отцов семейства. Самки их, напротив, с завершением постройки гнезд и откладки двух-трех пестрых, как мрамор, яиц образуют вскоре дамские компании и ведут, как бы мы, люди, сказали, беспечную и легкомысленную жизнь, несколько не беспокоясь и не переживая за судьбу своих детей. Им чуждо материнство, такое древнее и естественное чувство, органически связанное со стремлением продления своего рода и вида. И вот, пожалуйста, такие великолепные, можно сказать, совершенные птицы и утратили его. Но не будем, пожалуй, так категоричны в своих суждениях о поведении их слабой половины. В специальной литературе проскальзывают время от времени сведения другого рода. Они говорят о том, что у гнезд с яйцами и вместе с птенцами встречались также и их матери, как и должно бы быть.

Впоследствии мне также довелось найти в общей сложности более десятка гнезд этих куликов, а также многократно наблюдать их выводки вместе с двумя родителями.

Однажды самка хрустана была поймана мной во время насиживания гнезда. Так что полностью отрицать причастность самок хрустана к воспитанию птенцов было бы нечестно. Для выяснения этого интересного факта требуются дополнительные исследования. Пока будет справедливее, если мы воздержимся от категорических суждений.

Наш хрустан сидел на гнезде, не проявляя сколько-нибудь заметной тревоги. Спокойно и благодушно он взирал своими крупными глазами на этот огромный мир, в котором сейчас главными для него были две фигуры людей. Мы сидим от него на расстоянии метра в полтора, не более. Нам известно, что у гнезд они как бы теряют осторожность и становятся очень доверчивыми. По-видимому, «доверчивыми» — это не то определение, это смелость и готовность к подчас безрассудному самопожертвованию. Но как бы там ни было, а у гнезда хрустаны не только подпускают к себе вплотную, но и позволяют даже брать в руки. Это определенно и послужило в прошлом поводом назвать оригинальную птицу «глупой ржанкой» или «глупой сивкой». Я медленно тяну руку и пальцем касаюсь кончика его клюва. Затем также осторожно притрагиваюсь к спине. И тут хрустан, не выдержав моего вероломства, сходит с гнезда. Нам с Юрием представляется возможность не только взглянуть, но и сфотографировать гнездо с тремя яйцами, лежащими на ветхой моховой подстилке в небольшом углублении. Хрустан вновь решается провести сеанс на отвод, применив уже известный метод, основанный на симуляции, но убедившись, что это не поможет, он решительно идет к гнезду и садится, притираясь брюшком к пестрым яйцам.

Мне живо вспоминается эпизод поведения хрустана, описанный в литературе. Гнездо хрустана найдено было натуралистом Бенгтом Бергом в Лапландии. Натуралист, наблюдая за ним, пытался приручить к себе насиживающего самца, и это ему удалось: хрустан поверил в человека, позволял себя гладить, привыкнув, он соскакивал с гнезда и мчался вдруг за проползающим жуком. Схватив его, как ни в чем не бывало снова садился на гнездо. А когда Берг гнездо с яйцами взял в ладони, то и тогда осмелевший кулик забрался к нему на руку и продолжал насиживать.

Вспоминаются собственные наблюдения около одного из гнезд хрустана. Когда было обнаружено гнездо, приближался момент появления птенцов, и два моих юнната-орнитолога Боря и Толя вызвались весь световой день вести наблюдения

у его гнезда. Прятаться в каменистой тундре совершенно негде. Да и смысла в этом нет, поэтому насживающая птица совершенно не боялась ребят, которые сидели в трех метрах от нее. На следующий день, когда я подошел к гнезду, ребята, как два сфинкса, сидели на голой вершине и между ними — хрустан на гнезде. На другое утро ребята лежали около него, и так как дул сильный порывистый ветер, то они загораживали птицу и гнездо от пронизывающего ветра.

Хрустан спокойно наблюдал, как ребята делали в дневниках записи, рисовали и фотографировали его. Неподвижно сидя и почти не моргая, он вслушивался в их голоса. Так что временная дружба между ними оказалась очень даже взаимопользительной: юнаты многое узнали о его жизни, а он был надежно защищен от непогоды и врагов. Может быть, и хрустан узнал что-то интересное о людях.

Птенцы хрустанов очень красивы. Пуховое одеяние их необыкновенное: темно-белые причудливые разводы, придающие роскошь коврового рисунка их легкому пуху, словно расчлененному на мелкие кусочки темными штрихами. Оно прекрасно маскирует их в самой различной среде — в камнях, в траве или кустарниках березки, или же на голой щебенке. Если посчастливилось встретить выводок, то эта «глупая сивка», которая еще вчера давала возможность гладить себя, брать в руки на гнезде, сегодня держится, как и всегда, предельно осторожно. На большом расстоянии прячется она за выступами камней или выглядывает из-за увала, так что ее и не увидишь. Перебежки сопровождает в это время мелодичным пронзительным криком. И тогда подойти, чтобы рассмотреть птицу, практически невозможно. Птенцы же, заслышав крик тревоги своего родителя, мгновенно прижимаются к земле среди травы и затаиваются как мыши. Найти их можно лишь случайно. И никакая сила не в состоянии поднять их. Они словно впадают в глубокое оцепенение. Их можно взять в руки, поднять, перевернуть, разглядывая, и они будто не замечают и не понимают, что находятся в руках. Приходится только удивляться их необыкновенной выдержке. Когда малыш бежит на своих тонких ножках, его невесомое тельце легко подбрасывают пружинящие мелкие травинки и легко сбивает ветер. Куличок падает, кувыркается, тут же встает и опять бежит, помогая едва заметными рукообразными крылышками, подавая тонкий протяжный голосок: «пи-и-и!» В это время волнение обеспокоенного папаши-хрустана достигает предела. Он ртутным шаром огибает всевозможные препятствия и издает пронзительный крик тревоги: «крии-крии-крии!» В такие моменты мы всегда заблаговременно уходили, чтобы родитель не

потерял испуганного пуховичка. На горных вершинах холодно не только по ночам, но и в полдень, и они нуждаются постоянно в родительской заботе и тепле.

Хрустан — редкий обитатель горных вершин Алтая. Связано это прежде всего с тем, что в высокогорье не так уж много мест, подходящих для его гнездования. Это главным образом выровненные щебнисто-моховые участки тундры. Поэтому птицы и редкие. Бывает и так, что места для их жизни самые подходящие, а они не селятся.

Хрустаны — подлинное украшение этих суровых вершин, подпирающих алтайское небо. Его внешность, стремительный полет, приятные, ласкающие слух россыпи громких и нежных трелей создают незабываемое впечатление о встрече с ним. Кто бы мог подумать, что там, выше облаков, где чуть ли не ежедневно свирепствуют прожигающие холодом ветры, где идут беспросветные дожди и гнездятся глухие туманы, живут такие замечательные птицы. Не по берегам озер или речек, а в голых каменистых тундрах, вечно неприветливых, пустынных и холодных. До этого я тоже не думал, но теперь знаю сам и хочу, чтобы знали другие, что их надо беречь. Но мало не убивать их, при встрече нельзя трогать, гоняться за ними, разорять гнезда, а еще лучше не мешать им выводить птенцов, то есть просто быть человеком.

## Цокор

Мало кто из нас знает, что на полях, лугах, а не редко и в огородах живет небольшой грызун со странным названием — цокор. Вместе с тем многим известна неблагоприятная деятельность того зверька, который доставляет немало хлопот и недовольства земледельцам: то картофель на корню растащит, то нарвет земляных куч на сенокосном лугу. Но все это приписывается более популярному подземному жителю — кроту. Личная слава землекопа приносит кроту печальную известность. Говорят в народе: «на волка — помолвка, а кобылу заяц съел» — натворил цокор, а сваливают на крота. Сходство у них в одном — и тот и другой живут под землей. А в остальном они разные: крот — животное насекомоядное и никакого отношения не имеет к порче лугов или, скажем, воровству на огородах и пашнях. У него, как и у всех зверьков, употребляющих в пищу червей и личинок насекомых, «мордочка» вытянута, вроде ежиной, челюсти напоминают костяной лобзик, густо усажены мелкими острыми зубками. Окраска бархатистой шубки

темная, лапы наподобие черепаших — в разные стороны, словно ему не рыть, а плавать приходится всю жизнь.

Вот цокор — грызун, величиной с морскую свинку, такой же вальковатый, окраска серая. Морда тупая, имеет светлый и крепкий свиноподобный пяточок. Стоит только на него взглянуть, как в глаза бросаются мощные передние резцы, ими он ловко разделявает крепкие корни луговых трав, наворованное зерно и клубни овощей. Он прекрасно роет сильными передними лапами норы, поэтому когти у него острые и крепкие, а когда он шагает по твердой земле, то испытывает определенные неудобства — идет, будто на каблуках, цокая, как шпорам. Может, отсюда и название его — «цокор», хотя вряд ли.

Примечательны глазки цокора, точнее их назвать точечками-дырочками: настолько они малы, даже не сразу заметишь, словно кто-то шилом проколол. Они голубовато-мутные, словно у новорожденного щенка. Зрение этих подземных жителей никудышное. Если стоять недвижно рядом, цокор едва ли отличит человека от пня; у самых ног человека может продолжать заниматься своими насущными каждодневными делами.

Однажды, я воспользовался природной слепотой цокора. Заодно убедился еще и в том, что обоняние у него также оставляет желать лучшего. Было это на альпийском лугу высокогорного плато в верховьях реки Белой Ульбы, где могучие лиственницы и кедры уступили место осыпям и низкотравным нагорным тундрам. Прямо у бревенчатой избушки нашего постоянного экспедиционного лагеря-стационара жил цокор. Об этом нетрудно было догадаться: вокруг избушки темнели выбросы и забитые свежавырытой землей норы-выходы. Не один день мы наблюдали, как вдруг ни с того ни с сего начинал подрагивать, а потом лихорадочно трястись какой-нибудь кустик или пучок осоки, словно он один только подвергался скрытым подземным толчкам. В такие моменты я подкрадывался ближе к дрожащему кусту и слушал, как подземный житель грызет его корни. Любопытно то, что ни одно из пострадавших растений, за которыми я наблюдал, впоследствии не завяло. Видно, «бережет» цокор свой огород!

И вот в начале июля, в то время, когда на эти высоты приходит весна и день ото дня ширятся зеленые луга на месте сошедших снегов, как-то я тихо сидел у порога избушки. В это время из норы на зеленую лужайку выбирается тощий, словно тень, наполовину перелинявший зверек. Спина его обтянута шкурой, будто сшитой из серых и темных заплат. Некоторое время он прислушивался к чужому для него миру света и звуков, держался настороже. Лишенный возможности нормально

видеть и чуют, он еще долго вслушивался, бестолково озираясь. Убедившись, что все спокойно, отполз на брюхе от норы не более чем на полметра, начал кормиться стеблями и листьями осок и многочисленной манжетки с таким вкусом, что мне тоже захотелось отведать этого альпийского деликатеса. Зверь довольно умело подрывал корни и аппетитно жевал их, чавкая.

Учитывая, что животные подземного образа жизни очень чутки к малейшим сотрясениям почвы, я осторожно подкрался вплотную и также осторожно присел на корточки. Во время этой процедуры зверек неоднократно, пытаясь уловить нужные запахи и подозрительные шорохи, бросал трапезу, внимательно вслушивался. Чтобы не вызвать переполоха, мне приходилось замирать в самых неожиданных позах, то с поднятой ногой, то одновременно подняв руку и ногу. Не чувствуя опасности, гость из подземелья вновь наслаждался стеблями и корнями трав. Но прежде я сделал несколько снимков. На щелчки и трескотню фотоаппарата во время перевода пленки цокор никак не реагировал. Тогда я опустил руку и подушечками пальцев зажал кончик его коротенького хвоста, покрытого жесткими беловатыми волосками. Не заметив подвоха, зверек по-прежнему увлеченно промышлял кореньями. Соблюдая все правила необходимой конспирации, я держал его холодный, как проволока, хвост. Поглощенный поисками съедобного, зверек углублялся в лесную подстилку. И я вместо поводка вытягивал за ним руку, но хвоста не выпускал. Вот землекоп, поглощенный делом, вдруг оставил поиски и снова сел вслушиваясь. Убедившись, что все в порядке, он принимал решение пойти дальше. После нескольких шагов с притороченным хвостом он вытянулся, упираясь всеми четырьмя лапами, и тут только понял, что идти дальше не в состоянии. Тогда он попытался свернуть в одну-другую сторону, но предательский хвост держал крепко. А я держать-то держал, но сам побаивался: едва только поймет, что кто-то посягнул на его хвост, не раздумывая вцепится. Грызуны никогда не стесняются пустить в ход свои крепкие зубы, и плохо приходится тому, кому они предназначены. Но этот цокор, смирившись с тем, что идти дальше невозможно, некоторое время сидел, похоже решая непосильную для его «интеллекта» задачу, потом успокоившись, принялся рыть коренья и с удовольствием чавкать. Вскоре снова делал попытку продвинуться. И опять озадаченно озираясь, ничего толком не соображая и не видя. Мне стало жаль его: ведь он не в силах понять, что с ним творится — всегда свободно бегал, а тут ни с места. Вдруг цокор отчаялся: он начал бросаться в разные стороны, окончательно убедившись, что крепко прикован, не пытался спасти хвост, не пускал в ход

зубов, как следовало бы ожидать, а жалобно, почти по-детски, тихонечко захныкал. Да, именно захныкал. Услышав этот невинный плач, я тут же сдался. Сконфуженный и расстроенный зверёк без оглядки скрылся в своей норе и накрепко забил ее вход землей.

### В старом дупле

Каждый вечер в Ульбинских горах с восходом луны над горными вершинами, когда она мягким светом заливала долину Малой Ульбы, я уходил в тополевою рощу послушать голоса птиц. Признаться, больше всего интересовали меня маленькие совки-сплюшки. Монотонные, чуть печальные голоса их в пучине ночи звучат несколько необычно: то словно совсем рядом, то где-то далеко-далеко, забиваемые волнами ропота спящих тополей. «Хууп-хууп», — доносится из разных концов рощи. Я подражаю им. И тогда, судя по их крикам, чувствую: они мечутся среди слившихся в сплошную черноту зарослей поймы. Стоит чуть усилиться ветерку, и голоса их уже тонут в шуме листвы и горной реки.

Прошло несколько вечеров, и мне удалось определить примерно, где они гнезятся. И вот утром с фотоаппаратом подхожу к старому развесистому тополю, ствол его изукрашен причудливыми витками растрескавшейся коры. Невысоко чернеет дупло. Заглянуть в него удастся с земли, не влезая на дерево. Осторожно подкрадываюсь. За несколько метров чуть выше дупла, у основания ствола, замечаю застывшего, словно присохшего к коре маленького рогатенького «чертика». Он такой же серый и даже, кажется, шероховатый, как и кора, от которой трудно отличим. Лишь отчетливо вырисовываются колечки пристальных, и сказал бы недобрых, глаз.

Я остановился. Серое существо уставилось на меня глаз в глаз. На всякий случай щелкаю фотоаппаратом. Будто бы в ответ на мое действие, оно ужимается, словно из него выпустили воздух, на глазах становится тонюсеньким, чуть толще пальца. Щелкает крючковатым клювом и поворачивается ко мне боком, едва заметно нервно перебирая крыльями. Заглядываю в дупло и натываюсь на ядовитый взгляд желто-пуговичных глаз, словно повисших в полумраке и живущих отдельно, вроде бы сами по себе. Одновременно слышу злобный свист и стук клюва. Приподнимается, пыжится, разводит, подобно клушке, закрывающей от коршуна цыплят, в стороны крылья и, до предела расхолившись, немного клюет руку, но не улетает. Под колыбелью легкого теплого тельца нашупываю два только что

вылупившихся живых комочка и еще два почти круглых яйца. Потревоженные птенчики тихо и недовольно цвиркают. И вдруг замечаю, что совка резко меняет поведение: она словно засыпает — томно прикрывает глаза, смотрит холодно и презрительно сквозь тонкие щели пушистых выпуклых век. Решаюсь запечатлеть молодое семейство. Для этого достаю на свет ее птенцов и яйца. В это время слышу, как над головой шаркает кора и ощущаю всколыхнувшееся воздухом движение чьих-то крыльев. Поднимаю глаза: по-стариковски сгорбившись, с сучка, торчащего над головой, на меня смотрит серенький таинственный гномик, вроде он только что случайно выпорхнул из сказки и сам испуган этим. Взгляд его был, что называется, испепеляющим. Гномик гневно шипел и выстукивал зубатую дробь спрятанным в перьях темным клювом.

— Ну-у! Похоже, мне сегодня не сдобровать. Надо поскорее убираться восвояси, — ласково говорю.

На всякий случай навожу на него объектив. Раза два щелкаю и спешу поместить птенцов и яйца в дупло. В это время самец опускается еще ниже и вместо напыженного сероперого существа обращается в маленькую лесную с уморительным взглядом кикимору, тоненькую, вытянутую, с козым личиком и полуприкрытыми глазками. Движения ее комичны: она, позировав, поворачивается то одним, то другим боком и старается поплотнее прижать к худосочному телу длинные мягкие крылья. Все эти телодвижения означают не что иное, как глубокое возмущение и гнев. Быстро перевожу кадр пленки, и, когда снова поднимаю глаза, к моему крайнему удивлению кикимора превращается в невидимку: ветка пуста. А мне все еще не верится, даже не знаю что и думать — видел на ней или нет это лесное рогатое «привидение»?

## Капля

Над Кулуджуном занимался день. Солнца еще не видно, но позолоченный уголок восточного неба горел нежными красками на ровной поверхности озера, отражающего сплошные заросли камышей и рогоза, стоящих вокруг плотной стеной. Ранние низкие небеса словно опрокинулись, слившись с водой, и далеко внизу плыли розовые облака.

На ближней отмели на одной ноге стоит кулик-ходунчик. Он совершенно неподвижен: или дремлет, или глубоко «задумался». Под ним — точь-в-точь такой же ходунчик, только вверх ногами. Границы между ними не видно — один служит как бы продолжением другого. Где верх, где низ и ни за что

не узнаешь, кто из них настоящий, а кто отражение. И тем более невозможно будет узнать и на фотографии.

На кончиках клювов куликов я заметил назревающую каплю воды. Видимо, незадолго до этого, он кормился на отмели. Вода, скатываясь по клюву, росла, поблескивая слезинкой. Но двойники-антиподы, стоя на длиннющих красноватых ногах-ходулях, по-прежнему неподвижны.

Вдруг капля оборвалась. Одновременно навстречу ей снизу ринулась другая. Они встретились между куликами, громко клекнув. По воде побежали тонкие ободки ряби, и все встало на свои места: у нижнего кулика зазмеялась нога, силуэт его надломился и закачался. Это была та самая капля, которая решает все, та, что перетягивает чашу весов, и становится ясно, кто есть кто.

### Напуганы

Ясным тихим утром мы вышли к чистым плесам Зайсана с надеждой сфотографировать утиные стада. Чуткая тишина позволяла за сотни метров слышать всплески ныряющих птиц, тихое покрякивание и посвистывание. Сотни криков, серых уток, чирков плавали по зеркальной воде вблизи отмелей и сплавин. Однако завидев нас чуть ли не за полкилометра, утки вдруг разом захлопали крыльями по воде, подняв лавинный шум, снялись. Отлетев, они сели подле плавающих вдали пеликанов. Только белые цапли, стоящие по брюхо в воде, настороженно вытянули тонкие шеи. Застыли в неподвижности их кузины — серые цапли, темнеющие вразброс по отмелям, словно вбитые колья. Почему птицы так пугливы? И сколько мы ни встречали уток, все они заранее спешили улететь как можно дальше.

Мне вспомнилась картина у Тополева мыса: несколько цапель, с десятков разных уток, в том числе и очень осторожные пеганки, отдыхающие на берегу, а среди них паслась корова. С шумом она выдирала жухлую траву, мотала головой, пыхтела влажным носом и беззастенчиво крутила репыстым хвостом, отпугивая мошку и слепней. Укушенная, вероятно, оводом, она взбрыкивала и от души лупила хвостом по собственному брюху. Но вот птицы ее не боялись и лишь слегка сторонились, чтобы не наступила. И вот тебе нà! — идем тихо, чтобы под ногой тростинка не хрустнула, не разговариваем, не кричим и не стреляем, а такая паника.

Видно, крепко обидел человек баззащитных птиц. И теперь,

только завидев нас, они шарахались, как от самого страшного пугала. Доверие к нам подорвано.

Нам в тот раз так и не удалось хоть сколько-нибудь близко подойти к ним, о фотографировании и говорить нечего. Я смотрел в бинокль на «обиженных» человеком птиц: вдали от нас они чувствовали себя свободно — плавали, доставали корм со дна, вставая кверху хвостом, гонялись друг за другом, купались и прихорашивались, а некоторые, положив голову на спину, тут же дремали. Все они разные, но полностью доверялись друг другу. Даже орла, пролетавшего над ними, не очень-то боялись. Не бросались в панике по сторонам, потому что убедились: летают орлы по своим делам и без надобности не нападают.

### Ночной полет

Над песками занимался рассвет. В небе догорали одиночные звезды. Была еще середина августа, но утро по-осеннему выдалось холодным. На жестких листьях тростников, подступавших с реки Кулуджун, белел иней. За ночь песок стал как камень холодным. Вставать не хотелось, и я решил понаблюдать зарождение дня, не вылезая из спальника.

На фоне сиреневой полоски засветившегося неба четко рисовался силуэт растущей неподалеку солодки. Островерхние чиевники и волосистые ковыли выступали на горизонте с востока.

Степь еще спала. На широком плесе Кулуджуна — ни морщинки, ни рябинки. Глубокая тишина и покой. В такой обстановке ухо всегда чутко ловит малейший звук или шорох. И в этот раз высоко в сизоватом небе слышу едва уловимые журчащие голоса птиц, однако самих их не видно. Проходит время, и голоса постепенно усиливаются, становятся более четкими. Узнаю — «переговариваются» ласточки. А вскоре в просветлевшем небе, прямо надо мной замечаю большую рыхлую стаю самих птиц. Ласточки-касатки образовали живую ленту. Птицы медленно спускались к земле. Каждая ласточка делала несколько мелких и частых взмахов и на некоторое время повисала на распростертых крыльях. Впечатление было такое, что они подвешены на невидимых нитях. Едва какая-нибудь продвигалась на передний фланг, тут же развернувшись, вновь оказывалась где-нибудь в середине стаи. Некоторое время ласточки порхали на одном месте, и там же висела эта живая лента.

В стаю ласточек вмещалось несколько стрижей. Их узкие

серповидные силуэты четко выделялись среди касаток. Стрижи также не вылетали за пределы стан. Время шло, а ласточки и стрижи продолжали реять над одним и тем же местом, на одной и той же высоте — между песчаными барханами и плесом Кулуджуца.

Я оказался свидетелем, можно сказать, феноменального явления, когда стая ласточек и стрижей спала в полете. Оказывается, всю ночь эти прекрасные летуны провели в небе и сейчас возвращались с ночлега.

Орнитологам известны ночные полеты городских ласточек и стрижей. Сначала считали это явление случайным. И лишь сравнительно недавно было установлено, что ночные полеты для этих птиц — явление типичное. О стрижах, например, рассказывают, что, после вылета из гнезда молодых, стрижи не покидают неба: оно — их дом. И лишь до отлета на юг они утром и вечером прилетают к тому месту, где вывели птенцов, чтобы молодые навсегда, на всю жизнь, помнили его. Но я наблюдал ночной полет касаток, а об этом сведений в литературе нет.

Между тем, солнце уже выглянуло из-за отдаленных барханов. Освещенные тростники, обступившие плес, уронили в неподвижную воду свое отражение. Стая птиц сместилась к воде, рассыпалась, и ласточки, немного покружив, словно мошкара, облепили торчащие из воды заломы рогоза. В бинокль было видно, что они не просто отдыхали, а спали, спрятав головки.

Утро разгоралось. Из тростников выплыли стайки чирков и лысух. Грациозно над плесом закружили две серые цапли. Ноги их палками торчали назад, голова, вооруженная длинным клювом, покоилась на груди. Цапли заметили меня, не теряя времени развернулись и с гортанными криками скрылись за тростниками. Вскоре внезапно над водой появилась стайка речных крачек. Они подняли невообразимый крик и принялись «бомбить» воду: сложив крылья, одна за другой падали в заросли рогоза, выживая рыбок мальков. Обеспокоенные ласточки улетали.

### Черный певец степи

Юрта Джумабая стояла посреди низкорослой полыни в широкой и серой степи.

— Он садится головой к ветру, всегда гладкий и подтянутый. Весной и летом черный-черный как уголь и красивый, — гсворил Джумабай.

Я вспоминаю встречи свои с этим «черным певцом степей» и убеждаюсь, что точно подметил этот человек. А он продолжал:

— И садится всегда на макушки полыней. Как всадник на коне — далеко заметный и, как настоящий степняк, поет, много поет.

Видел и я этих птиц, сидящих на вершинах кустиков, они пели и темными глазами смотрели, как плещется на ветру горячая степь, как волнуются распаленные зноем фиолетовые дали. Черный-пречерный, кругом убийственный зной, а ему хоть бы что — знай себе сидит и поет.

Джумабай подливал чаю и говорил:

— Он всегда доволен своей жизнью и своей степью. Не умирает даже тогда, когда степь выгорает и желтеет от солища. Как верный сын ее, все равно поет о ее красоте, о красоте, которая понятна ему и мне тоже, — и Джумабай хитро шурит темные глаза.

Среди опаленной земли поющие черные птицы встречались и мне. Их темные горлышки раздувались — вот, мол, смотрите, какая это прекрасная земля, как она красива, и я красив тоже, сын этой степи, в которой живу! Разве я похож на остальных моих серых соплеменников?

И вправду, есть ли где-нибудь какая черная птица, живущая в однообразной, серой, желтой, полынной или ковыльной степи?

— Ты пей, — говорит Джумабай мне и опять подливает чаю, а сам все рассказывает. — Он поет даже тогда, когда работает...

Это тоже мною замечено: бегают они по земле, корм птенцам собирают, а это самая большая птичья «работа». Сам «работает» и все время в небо поглядывает и перекликается с теми, кто высоко. Клюнет подвернувшегося жука и снова поет. Бежит, что-то хватает, и все время песня его слышна.

— Он даже нашему брату — пастуху помогает, — улыбается Джумабай, — аргал сушит. А где взять в степи дрова, если ни кустика, чай другой раз не на чем вскипятить. Вот тогда собираем кизяк...

Все правильно говорил Джумабай. Эта птица переворачивает клювом лепешки коровника и смотрит, есть ли личинки да червяки под ними. Один пробежит — на одну сторону перебросит, следом другой — на другую опрокидывает. Понятно, быстро сохнет кизяк на ветру и солнце.

— Очень хорошая это птица, — хвалил Джумабай, пододвигая мне очередную кесе чаю. Я отказываюсь. — Разве так можно, — за себя пил, за жену пил, а что, детей не любишь, что ли?

Ай, нехорошо, а еще русский, а еще друг называется! Обязательно пей! Тогда говорить будем. Очень любим ее за то, что хорошо и много поет,— продолжал Джумабай.— Ты сам знаешь, что человек, который поет — плохого ничего не думает. В степи это все знают. Наш каратургай — самый большой друг пастуха, чабана — мы говорим. У нас песня про него есть, старинная песня — «Каратургай» называется. Ты, русский, не умеешь петь, как степняк, но все равно, раз записываешь, значит из твоих записанных слов, как от акына, узнают и другие. Это тоже самое, если бы ты хорошо спел, и песню твою услышали многие незнакомые люди. Давай еще по одной, уж больно сегодня чай хороший получился. Пей, ешь свежние баурсаки,— угощал Джумабай.

Потом он взял свою домбру и долго пел о своей степи, о черном жаворонке — каратургае. Все правильно, что говорил и пел мне Джумабай: черный жаворонок живет только на земле Казахстана, он самый красивый среди других жаворонков степи, прекрасно и много поет, украшает степь и радуется в безлюдье пастуха.

Прав Джумабай, что его чай самый вкусный и еще более прав он в том, что человек, который поет, плохого не думает.

### На семи ветрах

Зайсанскую котловину нельзя представить без солнца, без шири, без ветра и глубокой ночной тишины. Разный характер у здешних ветров: они бывают сильные и едва ощутимые, яедяные и обжигающие зноем — ветры с разных сторон. Дуют верховые и низовые. За одни сутки можно встретиться со всеми. Но больше всего заявляют они о своем переменчивом и вспыльчивом характере вблизи гор. В ранние часы тишь да благодать — не колыхнется травинка, не качнется былинка.

С девяти утра робко проходят первые ковыльные волны проснувшегося ветра, и с каждой минутой он усиливает свой бег. Сухо шелестят чиевники, клонятся макушки колющих кустарников. Волнуется предгорная степь. В полдень ветер вырывается из каменистых ущелий Мойрака, тугими порывами пролетит над горами, раскачивает гребни озера Зайсан, подбрасывая рыбацьи лодки и баркасы. И тогда от яркого солнца отлогие волны вспыхивают белым благородным металлом. Издали кажется, что Зайсан наливается холодной ртутью, отчего производит гнетущее впечатление — кажется совершенно безжизненным, скучным. Только крики чаек оживляют его. К вечеру меняется ветер: слабеет и дует с запада, робко прика-

саясь к верхушкам трав. Иногда, устав, вовсе умирает, оставляя в покое озеро.

В тишине и прохладе оживают голоса ночи: со всех сторон мурлычат свои монотонные песни сверчки, солируют варакушки, перезваниваются кулики. Озерная прохлада и сырость мешается с крепким полынным настоем. Меркнут вечерние краски неба. Проглядывают первые звезды. Если еще несколько часов назад можно было только мечтать о глотке холодного, освежающего воздуха, то теперь приходится подсесть к костру, натянув штурмовку.

Ближе к полночи из горных ущелий на равнину опять прорывается словно взбесившийся ветер. Красными брызгами разметав костер, он рвет палатку, поднимает пыль. Снова встревоженно бунтует Зайсан. И до утра ухают и ухают волны. Всю ночь безразличным пустынным оком смотрит на мир луна.

Круг замыкается. Стихает ветер только под утро, чтобы с восходом солнца объявиться с востока, ведь большую часть времени здесь ветры дуют со стороны восхода солнца.

### **«Горькая» жизнь**

В это лето северную часть котловины буквально наводнили желтые пеструшки. Мы встречали их почти повсюду — на плотных глинах с чахлыми обтрепанными ветром полянками, среди редких зарослей зайсанского саксаула. Они шныряли на каменистых склонах черной горы — Карабирюк. Но больше всего их было на зеленых берегах озера.

Глядя на шустрых рыжевато-сероватых зверьков, я удивлялся их скорости и проворности, с которой они носились по натоптаным ими же тропинкам. И как не удивляться, если увидишь, как они умудряются в стремительных перебежках следовать изгибам узенькой тропинки. На такой скорости недолго о торчащую сухую стерню брюхо распороть. Но пеструшки хорошо знают свои тропинки — это их дороги жизни: по ним они выходят впервые к солнечному свету, по ним бегут на кормежку. Но здесь же их подстерегает и смерть. На этих тропках дравят зверьков сокол-балобан, ловкая лиса и хорь. Много еще наберется четвероногих и пернатых, которые не прочь закусить пеструшкой. Имеются и другие причины, из-за которых в прошлом широко распространенные желтые пеструшки вымерли. И вот в 1965 году они вновь появились на этой земле — у озера Зайсан.

Сию и наблюдаю за стремительными переселенцами пус-

тынных пространств Призайсанья. И мне их чуть жаль из-за того, что у них в полном смысле слова не только короткая и опасная, но «горькая» жизнь. Живут они здесь среди горькой полыни, дышат воздухом, настоящим на горечи этой травы. Воды нет. И все, что перепадает им — всего лишь сок полыни. Получается: она их кормит, поит и постелью служит. Разве не «горькая» жизнь?!

Горькая она еще и потому, что на каждом шагу зверьки могут попасть на обед к хищникам. Отошел чуть дальше положенного — в зубы попался. Зазевался чуточку — когти цапали. Вот и приходится довольствоваться тем, что растет около нор, а здесь только полынь. Куда деться — полынь так полынь... Вот пеструшки и едят эту горькую траву, пьют ее горький сок.

### На бархане

Я присел отдохнуть на вершине бархана, чтобы заодно сделать необходимые путевые записи в полевом дневнике. Охваченная солнечным огнем пустыня раскалилась. Дрожали, струились кривые стволы кустиков джужгуна. Вокруг стояла гнетущая тишина, словно все живое выгорело. Только многочисленные цепочки следов говорили, что жизнь здесь есть. Но вот сейчас в такой зной все бегающие, ползающие и летающие куда-то попрятались.

Занимаюсь делами, и вдруг краешком глаза замечаю, как из полукруглой норки, темнеющей под кочкой с кустиком полыни, высунулась плоская головка ящерицы — песчаной вертихвостки. Знаю, что здесь этих круглоголовых ящериц великое множество. Поэтому не удивляюсь. Оглядевшись немного, она метнулась к ближайшему кусту джужгуна и внезапно затаилась, припав брюшком к горячему песку. Лежит такая же по цвету, как песок, как вся пустыня.

— Полежи, погрейся, небось продрогла в норке своей. Можно подумать, что у тебя там холодильник, когда вокруг такая жара. Не залежишься долго, голубушка, на таком месте, что на раскаленной сковороде — изжаришься.

И, правда, недолго лежала: она вдруг проворно шмыгнула в мою сторону и спряталась в тень у моих ног.

— Вот это другое дело, — говорю, — наслаждайся временной прохладой, пока я делами занимаюсь.

Пишу, а сам нет-нет и посмотрю, что она делает. Ящерка лежит не двигаясь, только головку скосила, все на меня поглядывает. Лежит, затаилась и совершенно с песком сли-

лась, словно сама из него слеplена, и поэтому кажется неживой. А глазки выдают — живые и туда-сюда бегают, быстро, по-птичьи. Все ко мне приглядывается это забавное существо. Рот у нее до ушей, будто однажды рассмеялась, да так и осталась и теперь выглядит добродушной и немножко смешной. Дышит странно, время от времени открывает ноздри, делает несколько глубоких вздохов, вентилируя легкие, так что на боках ее кожа сильно натягивается и проступают тонкие ребрышки.

На минуту-две после глубоких вздохов она замирала, не проявляя никаких признаков жизни, словно погружалась в воду. Несомненно, это одно из приспособлений ящерицы, жизнь которой полностью связана с песчаными пустынями, где она может зарываться в песок в случаях опасности.

Но вот ящерица привстает на передние лапки, широко расставив в стороны локти. Слегка горбится и издергивает хвост, исполосованный снизу черным и ржаво-оранжевым. Затем она скатывает его к спине калачиком и отчаянно машет из стороны в сторону.

Мне казалось, что это крошечное существо признало во мне друга. А почему и нет? Много раз бывал в этой пустыне, возможно, и когда-нибудь встречались. Мне ее трудно узнать, они почти все одинаковые, а она запомнила. Я тоже сделал вид, что узнал ее, обрадовавшись этой встрече, слегка присвистнул, хлопнул ладонью по голенищу сапога, подзывая ее поближе. Но в тот же миг, расплескивая рыхлый песок, она пулей влетела в свою норку, над которой в полном безветрии сиял томимый жаждой кустик полыни.

### Кому кланяются кулички

Я остался дежурить в лагере. Товарищи по экспедиции уехали в глубь степи. От нечего делать пошел на берег Зайсана. У воды веселее. Сажу, слушаю шум озера и наблюдаю: как набегающие волны выплескиваются на берег, прямо к моим ногам. У берега они становились круче, на их зеленых спинах вскипало белое кружево пены, с мягким шуршанием распластывались на песчаном берегу и с шипением отступали назад. Ветер гнал их к узкой косе.

Кругом никого, даже вездесущие чайки куда-то исчезли. Один-единешенек, мне стало совсем тоскливо. И вдруг замечаю маленького куличка — малого зуйка. Не заметил бы его из-за монотонной окраски, если бы не тоскливый пронзительный крик. «Теперь другое дело — не один. Разумеется, все-

лее», — думал я. Слешить некуда, решил понаблюдать, что он здесь делает.

Как бы не замечая меня, куличок стоял на тоненьких ножках и время от времени отпуская стремительные поклоны. Кому же он кланяется? Вот очередная волна и расстилается перед ним. Зук наклоняется и мчится следом за ней. Также внезапно останавливается, что-то клюет и успевает отбежать от набегающей волны. Снова волна, и снова куличок бьет поклон и вновь — за ней. Кланяется и бежит, клюет выброшенное на берег угощение. Ах, вот кому ты, оказывается, кланяешься — волнам! Куличок по-прежнему, словно желая меня окончательно убедить в этом, с поклоном кормился на берегу беспокойного озера.

Я решил подойти ближе, куличок во всю прыть припустил от меня вдоль берега, да так, что только лапки замелькали. На миг остановился и вроде бы вежливо откланялся, мол, милости просим. На любезность отвечаю любезностью, иду за ним. А он опять стрекача задал. Так и шел я за ним по берегу, а он отбегая и все кланялся. Наконец, окончательно убедился, компании не получится, поворачиваю назад.

Не приближаясь ко мне, зуек бежит следом, сохраняя при этом нужную дистанцию. Так добежал он до того самого места, где я его впервые заметил. И опять бежит и кланяется каждой волне этот куличок, подбирает угощение. Мне ничего не оставалось, как тоже откланяться и уйти.

### «Призрак» пустыни

С восхода и до заката иду по опаленной пустыне. С утра и до вечера неотступно сопровождает меня призрак. Куда я, туда и он. Мошкара да оводы одолевают. Только знаю, что отмахиваюсь, отбиваюсь. А от него не отмахнешься, не отобьешься. Идет след в след, нога в ногу. Идет по пятам, и не страшны ему ни зной, ни безводье.

Встаю с первыми лучами солнца. Развожу костер. Пью чай и укладываю вещи в рюкзак. Все собрано, пора в путь, пока еще холодок. Вваливаю рюкзак и иду навстречу солнцу. Он — тут как тут, тоже поднимается и тянется за мной. Преследующий меня призрак длинноват и малость неуклюж: длинные, как ходули, всегда чуть медлительны ноги, пожарными рукавами болтаются тонкие руки, а вместо головы какое-то расплывчатое неясное пятно.

Время к полудню. От раскалившегося добела солнца пески стали почти янтарными. И, кажется, что нет такой силы, ко-

торая бы сдвинула эти бугристые гряды, всколыхнула гнетущую тишину или хотя бы качнула скованную безветрием ветку джужгуна. Пески и воздух слепят глаза. Зной и духота. Некуда спрятаться. Если и есть тень, то только, как реденькая сетка, у тех же джужгунов. Вдруг неожиданно для себя замечаю, что призрак тоже боится света и солнца. Чем выше оно, тем ближе ко мне жметя он. Вскоре, как загнанная собачонка, лезет мне под ноги. Наступаю, но ему хоть бы что, не жалуется, не убегает. Я тоже бы с превеликим удовольствием спрятался за кого-нибудь в тень, да где ее взять. До горизонта — безмолвные, горячие пески. Над головой жаркое небо. Рубаха просодела, во рту сохнет.

Солнце стало клониться к горизонту. Полегче и моему «спутнику». Он осмелел, забегает наперед, словно в барханах дорогу знает, а сам час от часу растет. Теперь уже впереди шагает, и мне веселее от этого — все-таки вдвоем. Иду и приглядываюсь к призраку, а он чем-то на меня смахивает: как и я, в сапогах, так же из-за спины рюкзак выглядывает и так же устало передвигает ноги. Мне с бархана легче, ему тоже, на спусках вытягивается, становится намного длиннее. Карбакаюсь вверх, на бархан, сапоги буксуют в оплывающем песке, и он с трудом ползет. Дай, думаю, потрогаю. Потрогал, но под рукой — только раскаленный песок. Ненадежный друг этот призрак. Иду, забираюсь на желтые холмы. То спускаюсь, то поднимаюсь, а пескам все конца и края не видно. От отчаяния вскрикнул, а он по-прежнему молчит, только знай себе упорно продвигается вперед, словно отстать боится. Как и я, шагает и также руками машет.

Иду, посматриваю. И он по-прежнему идет, не зная усталости, и все время от солнца за меня прячется. Вышел я на бархан, сел отдохнуть. Не дожидаясь приглашения, присел и он. Сидит, не шевелится. Вижу, тоже отдыхом наслаждается. Оно понятно, еще бы в такую жару в безводных песках!

— Скажи-ка, мой спутник, так ли, как у меня, гудят твои ноги, так же нестерпимо раскалились от песка подошвы твоих сапог?

Но он сидит и молчит, словно не слышит.

— Ну, что же, дело твое, раз молчишь, — говорю, — призракам, наверное, полагается молчать. Ладно, я не обижаюсь. Все равно мне с тобой веселее, чем одному, среди этого раскаленного безмолвия.

А призрак снял сапоги, поставил их рядом. Порылся в рюкзаке, достал фляжку и отпил несколько глотков. Мне понятен вкус его воды. Она у него такая же перегретая и затхлая, как и в моей фляжке. Боится воды или нет? Взял да плеснул.

Нет, не испугался, даже не шелохнулся. Вода ушла в песок, оставив лишь мокрое пятно. Смотрю, а он, как и я, достал записную книжку и что-то записал. Потом вместе со мной обулся и, взгромоздив рюкзак, пошел следом. Иду, наблюдаю. Призрак остановился, нагнулся, что-то разглядывает на песке. А там следы-крестики, оставленные какой-то пустынной пичугой, да следы-кисточки, наляпанные тушканчиком ночью. Фотографирует что-то и трогает невзрачные растения. Ах, вот ты кто — натуралист! Теперь понятно, почему ты так настойчив в своем стремлении пересечь пустыню. Натуралисту нужны не только резвые ноги, острые глаза и чуткий совиный слух. Для него обязательна верблюжья выносливость и самое главное — желание. Станный это народ!

Смотрю и думаю, видит ли он эти бесконечные спины барханов и выцветшее посеревшее небо, это злое солнце? Если боится, значит видит.

Вдали на зыбкой желтой равнине зеленым парусом вздыбилась сосна. Идем к ней, там можно укрыться. Он тоже вошел со мной в тень и сразу куда-то пропал. Отдыхаю. Скользит над пустыней орел-беркут, а по пескам следом — его призрак. Вот оказывается, ты какой: кем захочешь, тем и станешь — орлом, деревом, травинкой и даже человеком.

Выхожу из-под раскидистых ветвей, а он тут как тут — опять за мной. И так целый день мы вместе. Вечером багровое вечернее солнце прильнуло к холмистому горизонту, и тогда призрак мой вроде бы устал. Словно утратив весомость, он оторвался от земли и вскоре совсем исчез. На отдых ушел, мне еще идти и идти, пока не блеснут первые звезды. Завтра он опять придет ко мне и, как сегодня, разделит одиночество под знойным солнцем и небом пустыни.

### Маленький волшебник

Вечерело. Из пустыни тянул устойчивый ветер. Сухо шумели приозерные тростники. Я сидел на бархане, наслаждался вечерней прохладой, любясь розоватыми отсветами неба на чистой глади Чайячего озера. Трудно рассказать о тех чувствах, которые испытываешь, провожая еще один день. Мысли и чувства сгущаются вместе с темнотой, разливающейся над землей. И тогда, сидя у шумящих тростников, окруживших озеро, я слушал их шелест и трескучие голоса, шныряющих в камышах дроздовидных камышевок, самых крупных и громкоголосых птиц этого многочисленного семейства. Поет она так сильно, что можно подумать: поет не пичуга, величиной с во-

робья, а, по крайней мере, птица не меньше утки. Удивительная у нее натура: нырнет в заросли и пошла скрежетать и кричать, хоть уши затыкай. А ей, пожалуй, кажется, что ее только и слушают, других-то она не слышит. Потому что невозможно так горланить, да еще слышать других птиц.

Вскоре камышовка входит в азарт, и не прекращая скрежетать и кричать, поднимается по камышинке выше и выше, до самой ее макушки. На фоне лилово-фиолетового неба виден ее силуэт с взъерошенными на голове перьями и раздутым горлом. Клюв то и дело раскрывается, и все время пульсирует горло. Трескотня далеко слышна. Все, что я сейчас видел и слышал, давно мне знакомо и привычно, хотя каждый раз воспринимается по-новому.

Вдруг рядом заводится другой вечерний солист. Свое пение он начал монотонным сверчком, и сразу перед глазами у меня во всю ширь встала полярная степь зайсанских равнин с их терпким запахом, настоящим на горьких степных травах. Потом — скалы, и пустельга у гнезда на уступе приветствует громким пронзительным криком. Перед глазами встал таежный лес, оглашенный звонкоголосьем кулика-черныша. Кулик умчался, а вместо него — весенняя река, наполненная шуршаньем тронувшегося льда и первыми тонкими перезвонами вернувшихся на родину куличков-перевозчиков. Их сменяет молодой беркут, что где-то в высоком небе сиплым срывающимся свистом кличет орлицу. Миг — и вместо неба нежно-зеленый сырой луг у реки, и над ним вьются с криками тревоги желтые трясогузки, тонким колокольчиком заливается скрытая птичка — обыкновенный сверчок. За лугом — поле, низкое вечернее небо и страстный перепелиный бой во ржах. Оживает в памяти родной Алтай. И опять слышу монотонную, ругающую сверчка, и вновь — сухая степь у Зайсана в треске взлетающих кобылок.

Кто этот певец, что так сразу за несколько коротких минут показал мне все то, что я видел и слышал когда-то, может, даже в детстве? Как он смог так искусно рассказать о своей и моей родине? Я знаю, кто он. Нарочно не смотрю в его сторону, чтобы не отвлекаться и во всех подробностях увидеть все то, о чем рассказал он в своей короткой каждодневной песенке. Этот маленький волшебник сидел на макушке сухой травинки и, вертикально вскинув хвост, раздувал темно-синее, почти фиолетовое горло, безупречно подражая голосам насекомых и птиц, которых он когда-то слышал сам или перенял от своих предков. От избытка энергии он то и дело взлетал, подпрыгивая в воздухе, трепетал на одном месте и опять пел на разные голоса. Затем на секунду умолкнул и, пощелкивая,

как пастуший бич, дернул хвостом, вытянувшись на длинных соловьиных ногах, посмотрел на меня. Чего, мол, здесь сидишь? Таким и запомнил этого самца варакушки. Я сейчас представляю его на фоне разгоряченного закатного неба на краю маленькой пустыни у Кулуджуна.

изд. в  
1951

## Черемуха

Взбираясь на гряды, сбегая с них, и — опять впереди утомительные подъемы и спуски. Окинешь взглядом пятна сплошных зарослей можжевельников, в бинокль оглядишь небольшие рощицы осин, стоящих вперемешку с белыми тополями, обойдешь заросли шиповника, спиреи и вновь ползешь на вставший перед тобой голый сыпучий холм.

Выхожу к Бухтарминскому водохранилищу. Бодрит освежающий ветерок. По склонам песчаных сопок — кустики черемухи. Черемуха в песчаной пустыне? Интересно! Ветки ее обтрепаны и густо облеплены созревшими ягодами. На барханах, холмах торчали темной звериной щетиной макушки черемуховых веток. Заросли были низкими, не выше колена. Лишь в понижениях кустики достигали одного-полтора метров. Я раскопал торчащую ветку и посмотрел, укоренилась ли нет в сыпучем грунте. И каково же было мое удивление, когда обнаружил, что эти, если их так можно назвать, деревца, в высоту по вершку и чуть больше, растут самостоятельно.

Где такое еще увидишь? Вот так пустыня! Я шел по бархану и чтобы нарвать ягод, сам нагибался, словно собирал не черемуху, а черную смородину. Ягоды карликовых черемух в пустыне очень вкусны. Созревают они здесь уже в начале июля, тогда как в горной части Алтая — в конце июля — начале августа.

## Голова Медузы

Трудно растениям без воды, а где взять, если вокруг горячие пески. Даже, если бы и удалось раздобыть ее, то не менее трудно уберечь от раскаленного солища. Однако они приспособились и добывать, и хранить драгоценную влагу. Во-первых, у некоторых растений на листьях и стеблях имеется восковая оболочка-кутикула. Неплохо придумано: свет через нее проходит свободно, а вода не испаряется. Стебли и листья у других растений-пустынных густо опушены тоненькими волосками, словно обросли серебристой шерстью. Между этими

волосками задерживается воздух, а воздух — прекрасный изолятор. Поэтому опушенным растениям не страшны ни низкие температуры, ни горячие иссушающие ветры. Светлые ворсинки отражают свет, что тоже спасает листья от перегрева.

Другие травы, растущие в пустынях, выработали свои, особые качества, они развиваются и вызревают за очень короткое время, пока еще пустыня богата влагой стаявших снегов и ранних дождей. Уже к началу лета они рассыпают свои семена или запасают питательные вещества в корневищах, луковичках, очень нужных в момент развития для нового ростка следующей весной. Самое распространенное приспособление для добычи воды у растений пустыни — это длинные корни. Во все стороны уходят они на поиски воды и перекачивают ее к стеблям и листьям, к иглам и цветкам.

Пески сами по себе являются хорошими влагонакопителями. Почти в любой самой сухой песчаной пустыне уже на глубине полметра, а то и меньше песок влажный, в двух-трех метрах от поверхности он становится липким, порой появляется вода.

Интересны корни джужгуна — самого распространенного кустарника пустынь Казахстана и Средней Азии. Только в нашей республике встречается их около семидесяти видов. Немало в Зайсанской котловине. Давно подмечено, что джужгун не боится песков, мало того, он, поселившись на барханах и дюнах, оплетает корнями, удерживает песок, мешает его перемещению под действием ветра. Ради этой замечательной особенности люди стали использовать его в борьбе против подвижных песков.

Во второй половине лета на бордово-красном искривленном стволике джужгуна появляются легкие шаровидные плоды. Сам кустарник невелик, зато корни, тонкие, как карандаши, но упругие и крепкие, тянутся в разные стороны на десять и более метров. Поэтому сидящие на вершине песчаного холма кусты напоминают цветного паука, крепко обхватившего спину рыжего неизвестного зверя-гиганта и всю жизнь пьющего его прохладную кровь — воду. Где ветры часты и сильны, где песок провеван и течет как сквозь пальцы, куст джужгуна не может удержать его и разметывает корни, висит на них. Вблизи повисший на корнях куст походит на медузу. Но сходство это оправдано лишь одним из видов джужгуна, встречающегося в Средней Азии. Ботаник А. И. Шренк назвал этот кустарник «головой Медузы». На латинском оно звучит, как каллигонум капут Медуза.

В жизни насекомых висящие кусты джужгуна играют роль воздушных мостов-акведуков, по которым курсируют они круг-

лые сутки. В часы, когда солнце в зените, по песку не разбежишься, лучше отсидеться в прохладной норе. А вот по упругим натянутым тросам, достающим соседнюю гряду или другой куст — можно идти, куда вздумается. Больше всего эти «канатные дороги» используют пауки. На джузгунах у них вотчина: по корням висят сети да воздушные шалаши надежно и высоко от земли. Здесь и добычливее — по ночам насекомые допадают.

Когда пески, залитые лунным светом, становятся похожими на легкие зыбкие волны застывшего моря, джузгуны парят на тонких корнях-щупальцах. Натянутые, как медные струны, они басят и баритонят на ветру, рождая дикую мелодию безлюдных мест.

### Миражи

Машина мчится на юг, туда, где над волнистой равниной едва проглядывает черно-фиолетовая гора Карабирык. Дословно название это переводится с казахского, как — Черная почка. И действительно, вид горы, одиноко вздыбленной над залитой солнцем далью, напоминает вздувшуюся почку. Для названия послужила именно ее форма. Во второй половине лета издали Карабирык почти черный в выгоревшей однообразно серо-желтой полупустыне.

Конвейерной лентой под колеса уходит светлая пыльная дорога. Она делает внезапные повороты, и машина, следуя ее прихотливым изгибам, тоже вихляет по сторонам. К одной дороге подбегает другая, и обе, похожие как сестры-близнецы, некоторое время льются рядом, сбегаются-схлестываются и снова разбегаются. Не зная здешние места, очень легко заблудиться: чем больше дорог, тем быстрее собьешься. Нам повезло, наш старый знакомый аксакал Сарсенбек отлично знаком с этим краем. Он знает самые отдаленные уголки, перекрестки и уверенно показывает на известную только ему дорогу. Нам же ничего не понятно и, конечно, безразлично по какой из них ехать.

Стрелка спидометра под семьдесят. Проходит час — другой, а вокруг все та же иссушенная земля. Но вот оживление: кто-то из нас впереди замечает долгожданный Зайсан и вереницу островов у берега. Проводник наш кротко и лукаво замечает:

— Ну смотрите, смотрите, только чтобы нам мимо не проехать.

По-прежнему, не сбавляя скорости, шофер ведет машину, за нами тянется светлый пушистый хвост пыли.

Медленно идет время. Озеро, по нашим подсчетам, должно было бы уже быть, но почему-то оно вовсе исчезло. Через несколько минут появилось оно в стороне. Как же так, ехали прямо и сбились? Теперь на его островках видим какие-то экзотические постройки среди небольших разливов, которые на глазах меняют свои очертания. Оказывается, это и было одно из чудес котловины — мираж. Разобравшись в чем дело, мы с большим интересом рассматривали несуществующие безводные озера с их многочисленными островками и заливами.

Раскалившаяся пустыня «развлекалась»: на островках появлялись и таяли замки, вырастали одиночные деревья и дремучие леса. Но, не доводя все созданное до ясной отчетливости, призрачная вода заливала и возрождала то же самое, но в другом месте. Будто перед нами ожила сказка. Словно по мановению волшебной палочки росли, исчезали постройки, острова и водные разливы. И сколько бы мы ни приближались к этим воздушным разливам и замкам, они умело отдалялись — мираж отступал к линии горизонта, как бы боясь, чтобы мы не раскрыли его тайны. Миражи живут только вдали от человека. Мы пробовали фотографировать их, однако ничего из этой затеи не получилось. Наверное, потому, что все было далеким и неясным.

На горизонте — очередной мираж.

— Ну, как видите, этот? — обращается к нам проводник. И, получив утвердительный ответ, улыбаясь, добавляет:

— Вот это-то и есть настоящий Зайсан.

Увидев, недоумевающий взгляд шофера:

— Давай напрямую к озеру, купаться будем, жарко очень!

### «Звезды» на глинах

В лицо горячий ветер. Мы мчимся по накатанной желтоватой от пыли дороге, теряющейся среди редких кустиков солянок и пучков обглоданного скотом чны. Впереди, будто из-под земли, поднялись и стали расти глинистые холмы. С каждой минутой они приближались, становились выше. И вдруг замечаем, как на этих сопках замелькали, занескрились лучики, словно сыпались в разные стороны белые искры. Решили осмотреть это сверкающее чудо. Казалось, что на сопки высыпаются все звезды Вселенной. Они брызгают зеркальными стрелами, до боли ослепляя глаза. Каждый раз убеждаюсь,

что этот таинственный край чем-нибудь да удивит. Экзотический колорит придают земле Зайсанской пламенеющие красноватые цепи глины. А тут еще холмы, стреляющие огнистыми стрелами.

Но стоит подъехать к этим «звездам», и чудеса пропадают. На склонах холмов, покрытых спекшейся коркой глины, повсюду разбросаны кристаллы гипсов. Самые разные, крупные и мелкие, по величине и форме: очень ребристые, ромбовидные, угластые и тоненькие, как обтаявшие льдинки. Мы ходим и выбираем самые интересные и красивые из них для сувениров. Незаметно набиваешь карманы, но азарт не проходит: один кажется красивее другого. Потом приходит желание бросить весь этот тяжелый груз и взять только самые-самые: чистые и прозрачные, оригинальные по форме. И опять все повторяется сначала — полны руки, потом — карманы. Некоторые друзья довольно большие — по пяти и более килограммов. Они легко разламываются пополам, что называется голыми руками. В сердцевине по разлому открываются льдистая прозрачность и кристальная чистота горного хрусталя. На некоторых друзьях играют голубишной небо и солнце.

Трудно представить процесс их кристаллизации. Понятно только то, что на это ушли многие тысячи лет, и то, что росли кристаллы гипса на дне некогда расклиннувшегося здесь водоема, вода которого была насыщена солями кальция. Вода отступила, и гипсовые сгустки оказались погребенными в глубины водных отложений. Прошли еще тысячелетия, и вместо разливов и болот образовалась сегодняшняя полупустыня. Редкие дожди, частые ветры год за годом, век за веком уносят и смывают частицы, постепенно добираясь до тех самых глубин, где спрятаны гипсовые «звезды». И теперь они на поверхности открылись свету и засверкали, чтобы удивить каждого, кто их увидит. Процесс размыва глинистых сопок налицо: глины смываются, уносятся и тогда под некоторыми кусками гипсов образуется глиняная «ножка». Ветры и вода продолжают точить ее, и однажды она не выдерживает веса друзы, валится и лежит на поверхности сопки. Так из года в год. Проходят столетия, и на размытом холме лежат сотни разных кристаллов. Среди них встречаются небольшие, но как будто специально спаянные, можно подумать, что они тонко подогнаны и врезаются друг в друга. Их угластые пластины образуют разнообразные гипсовые конструкции. Иглы — во все концы, возьмешь на ладонь такого прозрачного чертика и залюбуешься. Слепая сила природы, а смогла сотворить такое изящество и красоту! Гипсовые розочки, звездочки, ежики колют руки и рассыпают свет.

Их лижет, сыплет пылью, трет песком ветер, моют дожди, калит солнце. Все это придает им блеск. Но проведи по поверхности этих «звезд» хотя бы ногтем, и останется светлый, мучнистый след.

Дома я поставлю за стекло книжного шкафа собранные здесь «сокровища», и, взглянув на них, увижу бескрайнее небо Призайсанья. Почувствую жар и зной его пустынь и представлю красноватые, беловатые, разные-разные древние глины, на которых бенгальскими огнями сверкают «звезды», не гаснущие под солнцем.

### День ледохода

Незабываемое зрелище — ледоход! Как большого праздника, особенно мы, мальчишки, ждали, когда начнется ледоход. То и дело спрашивали:

— А когда лед на Иртыше пойдет?

Хотя сами наперед знали, потому что много раз об этом слышали: день этот — четырнадцатого апреля и тогда Иртыш часа лишнего не будет стоять.

В середине апреля весна на Алтае в разгаре. У закрайков последних снежных пятен с теневой (северной) стороны гор, где земля еще сырая от тающего снега, уже цветут подснежники. У нас подснежниками называют леонтицу алтайскую. В это время по солнцепекам кандыки сибирские показали свои острые носики — проклюнулись. Высунули из-под земли нежные коричневые язычки росточки хохлатки.

Потемнел на реке лед: ноздреватый, вдоль и поперек синеватыми трещинами исполосован. Посреди реки полынья, промоины появились. Ходить опасно. Переправы еще никакой. Между левым и правым берегами Иртыша движение в Усть-Каменогорске на это время прерывалось.

Тепла и солнца с каждым днем все больше. Где-то в горах незримо робкие ручейки несут в себе пробудившуюся грозную силу вешнего половодья. А лед все стоит, не поддается, все наливается водянистой синевой.

Наконец-то — долгожданный день!

В полдень городское население высыпает на берег. По всему городскому валу — от Крепости до Пристани — толпы любопытных. Мужчины ведут неторопливый разговор, покуривая самосад и махорку в самокрутках. Женщины обсуждают дела житейские да за ребятишками поглядывают, чтобы ноги не промочили, не случилось бы чего. Одни вездесущие, непосед-

ливые мальчишки шныряют среди взрослых, швыряют камни на шероховатый лед.

Время уже к полудню. Иртыш словно дремлет, силы собирает, чтобы сбросить оковы. Закрадывается сомнение: может, не начнется сегодня ледоход? Но старожилы знают, что такого не случится, никогда не было. И опять сидят мужики, покуривают, судачат бабы, и все идет чередом своим. Так и ждут, поглядывая на солнце.

В полдень весенние часы срабатывают. То там, то здесь с глухим рыком лопаются ледовый панцирь. Ширятся глубокие прорезы зеленоватых трещин. Огромные неуклюжие льдины медленно ворочаются, сползают вниз по течению.

— Пошел! Пошел! Тронулся!— слышатся отовсюду разноголосые крики.

— Пошел! Ура! Лед пошел!— больше всех усердствуют мальчишки.

Знакомая темная полоса саниной дороги, чуть унавоженная и припорошенная соломой, сползала вниз по реке вместе с большой угольчатой льдиной. А с ней уходило что-то знакомое, привычное. Но внимание переключается. Льдины оживают: чаще и быстрее ворочаются, крошатся, колются на мелкие сыпучие осколки, и легкое шипение трущегося ломкого льда наполняет реку.

Через час Иртыш — подвижная сплошная ледовая каша. Горожане оживленно переговариваются, показывают на вставшие дыбом льдины. Ледовый пояс, перепоясывающий Иртыш, останавливает плывущий лед. Он, подобно обезумевшей толпе, не переставая, надирает и давит сверху. Белыми медведями одна на другую взгромождаются громадные льдины, рассыпаются или медленно тонут в ледовом массиве. Лед коробило, сбивало, и выше затора быстро прибывала вода.

Не знаю, как было раньше, но на моей памяти в это время в небе появлялся самолет «кукурузник» и начинал бомбить скопившиеся льдины. Один за другим брызгали и вырастали высоченные фонтаны льдистого хрусталя, сотрясая воздух. И снова продолжался ледовый парад.

Опять на обломках льдин проплывали куски зимних дорог, на них темнели клочки снега и размытого навоза, прибитая печная зола. Случалось, что на какой-нибудь льдине металась и выла случайно оставшаяся собачонка или жалобно мычал оказавшийся на ледовых глыбах теленок. Люди на берегу сочувственно провожали попавших в беду животных, на все голоса кричали и свистели мальчишки.

Расходились медленно, как после большого праздника, немного утомленные солнцем и ожиданием.

Уже на следующий день по Иртышу плыли голубовато-зеленоватые, почти прозрачные льдины. И опять кричали взволнованно мальчишки.

— Смотрите! Бухтарминский лед! Лед бухтарминский пошел!

В само слово «бухтарминский» вкладывали какой-то свой, особый смысл, малопонятный самим, но вместе с тем всем, особенно взрослым, хорошо известный. Это означало, что лед этот идет с далекой и дикой реки Алтая — Бухтармы. Хотя, признаться, большинство из нас никогда не только не видело этой реки, но и близко не было около нее.

Помню, как мы с закадычным дружкой Колькой, увидев первую, почти купоросную льдину, сняли шапки и, размахивая ими что есть силы, завопили:

— Ура-а-а! Ле-ед бухтармински-й!

Большой ледоход заканчивался. По мутно-серой воде теперь плывут одиночные, глубоко погруженные в воду обломки льда. На них суетятся, покачивая длинными хвостиками, первые трясогузки.

Потом пойдут первые лодки, с них остро отточенными баграми мужики и подростки будут ловить плывущие обшарпанные бревна. Возьмутся подрабатывать сплащики — за небольшую плату переправлять скот и людей, пока не заработает переправа — два парома на пристани и в городе между правым берегом Иртыша и Медвежьим островом.

Сейчас вместо паромной переправы — великолепный мост к тому же острову с изменившимся названием — Комсомольский. Через него уходит широкое асфальтированное шоссе к новому городу, где живут новые горожане. Они, к сожалению, ни разу не видели ледохода на Иртыше.

### Белый холм

Не поверил бы, если бы не увидел сам, что в предгорных холмах Монрака таких же сухих, как и Зайсанская котловина, с которыми сливаются эти холмы, весной цветут иксиолирионы — обычные раннецветущие растения предгорий Алтая. Их ярко-синие цветы-колокольцы за один-два дня способны совершить чудо: сделать совершенно неузнаваемыми голые каменистые склоны гор. Смотришь и удивляешься этому чуду. Горы покрываются густо-синей фатой бесчисленных иксиолирионов.

Немало удивился, когда увидел у подножья Монрака синие

шапки холмов. Еще вчера они были желтоватые, сероватые и красноватые, как всегда, а сегодня — синие.

Бреду по этой степи, как по зыбкому шелковистому разливу, любясь синими холмами, слушаю несмолкаемые песни жаворонков. Но мое внимание привлек белый иксиолирион. Необычный — чисто-белый, цветок-альбинос — это редкость. На память о встрече с ним срываю и осторожно закладываю в записную книжку. Несколько шагов — и еще один, потом — еще и еще. А вот целая куртинка чисто-белых и-чуть-чуть подсиненных цветов. Фотографирую и жалею, что нет цветной пленки — черно-белая не передаст всей прелести нежного цветка.

Так я и иду от одного белого цветка к другому, от куртинки к куртинке. Покачиваются и, кажется, позванивают на ветру белые бубенчики. Их все больше и больше. Когда много, не так интересно. Поднялся на увал. Серебристые, зеленые и сизые пятна украсили холмистую степь: ковыли смешались с сизой полынью, с зелеными зонтами ферул да еще пестрят синие и белые вспышки иксиолирионов. А один холм, словно на нем еще снег не растаял — весь нежно-белыми цветками покрыт.

Так уж мы устроены — редкому всегда удивляемся, обычное — не замечаем. И я — пока шел, перестал удивляться одиночным цветкам с белой окраской. А белый холм — опять редкость, для всей весенней степи, украшенной синими и белыми мазками иксиолирионов.

Белые и голубоватые иксиолирионы я неоднократно встречал в предгорьях Калбинского хребта и на Рудном Алтае, но такого белого холма, как у Монрака, не видел.

### Как расстаются журавли

Догорал апрельский день. Густо чернела в предзакатной дали очистившаяся от снега степь. Уже смолкли голоса перелетных птичьих стай, и только сырой ветер глухо шумел, налетая на темные скалы.

Из-за заснеженных вершин Саура на заалевшем небосклоне появился угольник журавлей. Птицы летели молча, вероятно, торопились, чтобы до наступления темноты опуститься на отдых. В это время от стаи отделился сначала один, потом другой журавль. Громко курлыкая, они круто сменили направление и, снижаясь, полетели к разливам Зайсана, где чернела оттаявшая земля, среди тростников розовели чистые плесы воды.

Стая заволновалась. Прежний порядок нарушился. Послышались громкие призывные крики. Но отделившиеся от стаи журавли, как мне показалось, с прощальными криками полетели к тем местам, где впервые в жизни увидели эту землю, впервые поднялись в большое небо.

Стая кружила до тех пор, пока оставшиеся птицы не потерялись из виду. Тогда в журавлином хороводе выделился вожак, от него в обе стороны подстроились другие. И снова острый угол серых птиц медленно поплыл туда, где у них родина.

## Разговор цветов

### У кого какой цветок

У кромки снежника на альпийской лужайке на тоненьких стебельках-травинках поднялись тугие бутоны. Всех выше дороникум, ниже покачивалась купальница алтайская, еще ниже — кандык сибирский и у самой земли прятались виолы.

Над вершинами гор прошелся ветер. Шум далеких речек незримой волной достал безмолвные полузаснеженные скалы, стоящие вровень с обрывками облаков. И опять тишина. Едва заметно покачиваются и подрагивают стебельки трав. Клацаются головки их и тихо перешептываются.

— Неужели правда? Так и есть — переговариваются о чем-то.

Присел поближе к ним и слышу:

— Отгадай, Человек, что у нас в кулачках спрятано?

Прикинул, что к чему и отвечаю:

— Для натуралиста дело это не трудное: у тебя, купальница, махровый огнистый цвет. Расцветет — всем на диво! У тебя, дороникум, золотисто-желтый, на подсолнух похожий, поменьше, конечно. Голубые лепестки у твоего цветка, кандык, и просто синие у тебя, виола.

Вижу, с чем-то они не согласны. О чем-то перешептываются. А потом и говорят:

— Так, да не так, — а сами хихикают. — Приходи к нам завтра, тогда сам увидишь, что не совсем ты прав.

На том и расстались.

За словом дело не стало. Пришел назавтра. И вижу, что вправду, не совсем прав: каждый цветок сегодня открыт. Вчера еще тайна была спрятана в их кулачках, сегодня — у каждого на ладони. Только вот у купальницы не просто цветок, а огнистый шар, яркий и чистый, как раннее солнце, у доронику-

ма тоже похож на солнце, только на полуденное знойное, тронутое позолотой. У кандыка на ладонке подрагивал сиреневый чуткий рассвет ранней весны, нежный, холодный и зыбкий. А у виолы — синяя-пресиняя ночь, какие бывают ранней весной и только на вершинах Алтая.

ЕВРО:

## Генцианы

ХИ:

Поздно приходит и рано кончается лето в нагорных тундрах. Не успеет по щелям и западинам снег зимний стаять, а уж нового подсыпает. Мало выпадает теплых дней на долю растений-альпийцев. Всего каких-нибудь два месяца отпускаемого им тепла. За это время нужно успеть вырасти, расцвести, вызреть. Потому, как только в горные вершины приходит весна, как только начинает следить проталинами, робко поднимаются первые травы. Еще по ночам мороз, в ледяной панцирь одеваются подтаивающие снежники, но на проталинах растут генцианы. Где вчера белел снег, сегодня дружно зажглись их голубые огоньки. По одиночке и гнездами встают они над землей. Голубыми рюмочками открывают чудесные цветы. Вокруг еще жухлая слежавшаяся за зиму трава да черные кротороины. Цветущие генцианы зачарованно смотрят на полыхающее солнце. Только на закате, когда холодная лиловая дымка застилает горы, они дружно скручивают свои лепестки вокруг драгоценных тычинок и тотчас из прекрасных синеглазок обращаются в тускло-сизые туго завернутые кулечки. Так и стоят до утра, согнувшиеся и горемычные, словно обездоленные золушки.

Случается и день, и другой солнце не может пробиться к земле сквозь плотный занавес облаков. Тогда генцианы не открывают своих чудесных цветов. Они не хотят смотреть в хмурое серое небо, на свинцовые дожди и мутные дали. Но дожидаются и обязательно дождутся солнца, чтобы опять очаровывать путника, забредшего сюда, в край синеглазок.

## Иван-чай

Спят в буйном цветении таежные растения. Не более двух недель горит сине-голубое свечение лесных фиалок. Около месяца гуляет оранжевый пожар огоньков алтайских по мокрым лугам, у снежников и речек. Бывает, что встретишь скрытую от глаз маленькую таежную лужайку, сплошь затянутую бело-желтым полотнищем резных ромашек.

Если в лесу случается пожар, оставляющий обгорелые пни, обугленную землю, то уже на следующее лето на черной ране леса обязательно поселяется кипрей, или иван-чай. Миллионы семян его разлетаются по белу свету на своих ажурных волосистых парашютиках. Их так много, что они обязательно найдут гарь, осядут и прорастут. И уже следующей весной поднимется стена этой травы, ее серебристо-зеленые листочки закроют все бреши и прорехи на опустошенной огнем земле. Стебельки — один к одному, и каждый густо огорожен длинными листиками, похожими на изящных рыбок.

Заросли кипрея высоки, с головой скрывают. Выше хорова вода листьев, идущих почти от земли, закладывается череда бутонов. И вот однажды июньским утром, не раньше и не позднее семи и девяти часов самые крупные цветки нижнего ряда, как сговорившись, разом открываются, образуя цветистое кольцо. Зажженное июньским утром, оно горит несколько дней красно-сиреневым огнем, затем, отцветая, уступает место верхнему ярысу. Так все лето ползет огнистый обруч вверх, пока не погаснет на самой маковке стебля.

Мне всегда думается, когда гляжу на цветущие заросли кипрея, что в его живой свече — само лето. Середина его цветет в июле, в августе, на подходе осени, он постепенно затухает, в сентябре и вовсе гаснет вместе с отшумевшим летом.

Осень с ее холодными затяжными дождями задувает его ветрами. Но не из тех иван-чай, так просто он не сдаётся. Есть в нем что-то стойкое, как и в самом названии. Неожиданно, в конце лета он вдруг одевается в другое убранство. Одни за другим лопаются сиреневые, длиной с палец стручки. Их четыре доли завиваются в спираль и играют под солнцем выбившейся сединой нежнейшего искристого пуха. Заросли становятся неузнаваемыми, словно это не кипрей, а само лето поседело. И опять гаревая опушка празднично сверкает перламутром пуха.

Неравнодушен я к иван-чаю: либо отдохнуть присяду и смотрю подолгу сквозь кружева листьев на плывущие облака, либо завалюсь в него. И каждый раз по-новому вижу его яркие и горячие цветы или седые кудри пуха. Удивляюсь его необычной жизнеспособности. В нем подкупает не только название, но и вообще что-то подлинно русское, есть все — доброта и стойкость мужицкая, особая красота и мудрость невысказанная. К нему и пословица в самый раз: и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Таков наш лесной иван-чай: корни его на вкус сладковатые. Оголодавшему, заблудшему — серьезная поддержка. Из свежих листьев салат отменный можно приготовить, из высушенных — заварить чай. Мед, взятый с иван-

чая, один из лучших. Корни для дубления идут, из стеблей — вьют веревки да канаты. Из упругого пуха можно легкую подушку набить, таежные сны на ней смотреть. И еще у него много полезных качеств, нужных для человека. Все-таки есть в нем что-то от характера русского. Недаром же его не как-нибудь мудрено, а попросту называют — Иван-чай.

## Живокость

В пышноотравье июньского леса, среди зелени и красок взметнулось синее языкастое пламя. Вырвалось оно из глубины зеленого половодья. Сочится у граненых малахитовых папоротниковых чаш, пламенеет у троп, беснуется над ручьями, до темнолапых пихтачей достает. Того и гляди все синим огнем погорит.

Нельзя не заметить его в летнем лесу. Поэтому так часто, когда идем тропой, спутники мои спрашивают, что за растение так красиво цветет, и в который раз я вынужден пускаться в беглые разъяснения о том, что это живокость высокая, или мухомор. Называют его иногда рогатым васильком. Иногда сам смотрю на растение свежим взглядом и задумываюсь: все вроде бы в названии ясно, понятно, что ядовито и обладает дужной по житейским представлениям способностью травить мух. К ядовитым растениям интерес у нас всегда несколько повышен — опасные. Требуется осторожность. Живокостью, надо полагать, называется из-за стеблей. Они наощупь гладкие, жесткие, холодные и крепкие. Может, эти особенности определяют столь странное сравнение с костью. «Высокая» — и это понятно: высота их достигает порой двух метров и более. Так что не всегда рукой до вершины дотянешься. «Васильками» — за то, что цветы их чаще синие, иногда с нежно-голубым оттенком, бывают и василькового цвета. «Рогатые» — у каждого цветка шпорец или рожок позади. Называют его еще сокирки полевые, комаровыми носиками. Полатыни вообще красиво звучит — дельфиниум элатум — и связано, по-видимому, с названием реки в Греции.

Листья дельфиниума подвешаны как бы на тонких длинных и упругих черешках и походят на клочкастые рваные звезды. Ближе к земле они крупнее, выше — мельче. Стоит нагнуть цветущую макушку, чтобы разглядеть, что его цветы пчелиным роем обклеили вершину упругого стебля. Пятикочечные, рогатые, они делают соцветия, похожие на синие хрустальные друзья. Поэтому издали цветущая живокость и походит на холодное синее пламя. Каждый по отдельности

цветок — это синий разлитый взгляд с темным зрачком тычинок. Никуда не спрячешься, не скроешься: смотрят их синие колокольцы вниз, по сторонам и вверх.

В июле дружно у основания стебля вспыхивают голубые кольца. И все оставшееся лето они ползут вверх, опалая августовский лес, пока однажды осень не погасит последний синий огонек. Вместо цветов остаются три пальчатых стручка. В каждом стручке — заметно выпирают ребрами горошистые семена.

Все лето вокруг этого красивого и злого растения выются шмели да пчелы. Хоботок у них длинный, хорошо приспособленный для опыления сложных цветов, нектар которых спрятан в длинных шпорцах — рожках. Не каждое шестиное существо дотянется до угощения живокости. А мухам тем более делать нечего: от одного дыхания конец приходит. Стороной облетают, словно знают, что не зря «мухомором» зовут.

Уходя из леса, оглядываюсь на красивые и злые цветки мухомора, обвешанные синими рогами звездами.

### Змееголовик

Трудно представить себя великаном, таким, как Гуливер, когда он попал вдруг в страну лиллипутов. Оказывается, можно. Я, например, десятки раз им бывал. Когда идешь по каменистым спинам гигантских хребтов, куда ни глянешь, видны выпирающие ребристые скалы, полузасыпанные лежалым снегом. Далеко внизу по тесным щелям и зеленым долинам искрятся сбегаящие с гор речки. Темно-зеленым войлоком стелется на склонах хмурая молчаливая тайга. Облака и те ниже. Они неуклюже обдирают бока о кедровые гари и голые каменистые россыпи. Самое интересное, здесь деревья и кустарники своими макушками скребут голенища моих сапог: карликовые заросли кедра, круглолистой березки и ивы-лиллипутики, всего с палец вышиной. Плотный ковер мха, покрывающий склоны, проваливается под ногами, как губка, и зеленые следы-вмятины тянутся за путником. Словно бредет какая-то неведомая сила и замазывает эти следы: мох тут же расправляется, как бы набирая воздух, вмятины исчезают, и следы пропадают. Удивительная страна «Высокогорье» — ее первозданный простор, дали и воздух, безмолвие вместе с тем торжество жизни, красок очаровывают. Лишайники, обклеившие камни, живут здесь бок о бок со сверкающим многоцветьем альпийских лугов.

Вместе с солнцем, скрывшимся за горами, уходил день.

Я остановился у ручья на пологом, хорошо просохшем склоне. Поставил палатку. И уже при первых звездах грел руки о кружку горячего чая. Неугомонно тараторил ручеек, вдали глухо шелестели бессонные речки. Крупные звезды, низко свесившись, казалось, разглядывали меня в упор. Валила усталость.

Проснулся, признаться, поздновато: толще обильно хлестало светом. В дверную щель палатки подрагивали сиренево-красноватые сережки какого-то цветка и глазастые искорки сверкали, простреливая палаточный сумрак.

— Кто же это пожаловал ко мне в гости?

Подобрался к щели. Перед палаткой стоял раскидистый куст копеечника. Сиреневые, косо свисающие цветки шапкой одедали его макушку. «Драгоценное» растение — каждый лист у него по копейке. И что ни цветок — украшен пугливой розинкой. Оттого цветки его сверкают, перемигиваются, беззвучно смеются, зазывая меня к свету и солнцу.

Приглашать себя я долго не заставил. Выполз и сел. Сразу же удивился:

— Ба-а! Что за делегация: прямо у палатки стайкой сучились синие, голубые и желтые собачьи мордашки. Все они дружно уставились на меня, словно такое чудо-юдо, как я, видят впервые. Молчат. Боюсь пошевелиться, хотя я и великан перед ними. Но вдруг оторопь меня взяла. Прямо у ноги — головы зменные, рядышком одна около другой. И куда ни погляжу — склон весь в зменных головах.

— Вот это, — думаю, — влин.

Подобрал ноги и, сверкнув пятками, в палатку. Лег на живот головой к входу. Приоткрыл полог палатки и рассматриваю головы, что прямо у двери перед глазами. Вокруг невысоких четырехгранных стеблей тянутся во все стороны угловатые серебристо-серые цветки, на фиолетовые головы смахивают. Они даже так изрисованы жилками, словно чешуей одеты.

Только вот головы их ярко-синие и голубые, а вместо языка — внизу и сверху по паре цветных тычинок, в глубине — нектар. Не зря это растение древние ботаники называли за листья и цветы драконоголовыми — «драконоцефала», а сейчас — «змееголовик».

Заметно одно: куда бы они ни смотрели, эти драконьи головы, берегут, прикрывая верхними «губами», свое драгоценное «жалю» и «зубы» от дождей. Воды не пьют, дождь не попадает в их «пасть» сверху.

Я обуваю сапоги, собираю палатку, надеваю рюкзак, иду по склону, сплошь усеянному дремлющими «головками змей». Хорошо быть «великаном»!

## Альпийский мак

На голых каменистых вершинах горных хребтов, где сумасшедшие ветры сбивают с ног человека и сдирают комья земли, где не редкость июльский снегопад и постоянны затяжные холодные дожди, живет удивительное альпийское растение — голостебельчатый мак. Оно восхищает не только красотой и совершенством, но также силой и стойкостью. Просто диву даешься: как такой нежный полупрозрачный цветок выживает в условиях высокогорья. У него тоненькая соломинка-стебелек, упругая, как проволока, кремовые венчики, неугасимо пылающие на скудной каменистой земле у вечных снегов и ледников.

С первым теплом на промороженных каменистых склонах мак выходит из земли, расстелив подле себя резной коврик пушистых голубовато-зеленых листочков. Затем появляется росток. С каждым днем он тянется вверх, расправляет «спину» и, склонив голову-бутои, встает над землей. Головка его день ото дня тяжелеет, наконец, он поднимает ее и вспыхивает кремовым пламенем. Горит и сверкает наперекор невзгодам, с которыми приходится ему встречаться на горных вершинах, светится в гнетущих серых, беспросветных туманах, под промозглыми затяжными дождями. В непогоду, когда, кажется, продрог и отсырел весь белый свет, когда не иневаются посиневшие губы и перестают слушаться окоченевшие пальцы, мак горит тепло и весело.

Удивительный цветок: его не в силах задавить непроглядные дымящиеся туманы, задуть свирепые ветры. Ему ни почем заморозки и случайные снегопады.

Так он и живет, обстрелянный градом, ослепленный яростью молний и оглушенный громом. От всего этого он кажется лишь веселее. И если его альпийский собрат — эдельвейс — считается символом мужества, то голостебельчатый мак достоин стать символом стойкости и терпения. Жаль: цветок красуется недолго. Сядет маленькая мохнатая цветочная мушка на мак, поворошит тоненькими лапками тычинки, полижет хоботком пестик и — на другой цветок. И все! Пропал наш мак: лепестки осыпаются, счастливый ветер уносит их. Цветок сработал. В нем состоялось тайное свидание великого начала, присущее зарождающейся жизни. В будущем семена его закладывается ткань другого цветка, его образ и такой же поразительно стойкий характер. Все это заключено в мизерном маковом семени. Потом ветер унесет и запрячет его в холодную голую щель среди камней, устилающих безжизненные гольцы. Следующей весной, с первым теплом из него встанет новый росток.

## Лилия

Лилия в древности называлась русалочьим цветком. Ученые ботаники дали ей имя — белая кувшинка, по-латыни нимфа кандида, что в переводе будет звучать, как нимфа белая. По преданиям древних римлян, нимфа — фантастическое существо сродни нашей русалке. И так во многих легендах говорится о том, как сказочно красивая нимфа обратилась в цветок белой лилии. Все предания древних подчеркивали главное достоинство цветка — красоту. Надо думать, что мифический ореол вокруг одного и того же растения в разных частях света связан с тем, что лилия растет на болотах и стоячих озерах, где были «прописаны» лешие и водяные.

В старинном русском травнике, как писал Н. Верзилин в своей замечательной книге «По следам Робинзона», белую кувшинку называли одолень-травой, травой, способной одолеть нечистую силу. Приписывали ей другое свойство: «Кто найдет одолень-траву, тот вельма талант себе обрящет на земли». А славянин, отправляясь в дальний и опасный путь, зашивал себе в «ладанку» (в мешочек) кусочек корневища лилии и носил его вместо амулета на веревочке, надетой на шею, творил признанное заклинание: «Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лиха бы на нас не думали, скверного не мыслили, отгни ты чародея, ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, доли низкие, озера синие, берега крутые, леса темные... Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца во всем пути и во всей дороженьке».

И вот эти цветы передо мною. Их резные белые отражения неподвижны в зеркальной воде затерянного озера. Начинаясь новый день июня, и прелестные нимфы дружно распахнули белоснежные лепестки, открыв солнцу и свету свои таинственные «души». Весь день они будут медленно поворачиваться и пристально смотреть на солнце. В час заката дружно закроются и уйдут под воду, чтобы назавтра опять всплыть маленькими лебедями и встретить утро. Лилии — дети воды и солнца!

## Касатики

Насколько хватает глаз — бугрятся барханы. Разгоряченный ветер ворошит игристые ковыли, отчего зло скрежещут прошлогодние отбеленные зноем скудные травы. Вечный покой мертвит притихшую полуденную пустыню.

Ловишь себя на том, что жажда требовательно направ-

ляет все мысли и желания поскорее выйти к воде. На глаза попадают только следы ночных зверьков и насекомых.

Думаю, редко кто бывает в таком безводье. И тут же на удивление замечаю, на ветру в жестких кустарничках полощется голубой платочек. Нежный и чистый, еще не успевший выгореть.

Подхожу. Оказывается, среди колючих трав вместо платочка стоят гурьбой касатики. Стоят одинокие и будто держатся за руки, чтобы не растеряться в такой сыпучей безводной пустыне. Столпились и растерянно смотрят во все стороны, поворачивая голубые головки, машут такими же голубыми лепестками. Окинул взглядом однотонные, похожие друг на друга барханы и решил, что заблудились цветы, попав в пустыню. Ведь их место на заливном лугу!

Хотелось помочь им, но как? Так и остались касатики. Стоят и все машут на горячем ветру голубыми лепестками, чтобы кто-нибудь подошел и указал им дорогу из желтого безмолвия.

## Недотрога

Более нежных и сочных листьев и стеблей, просвечивающих на солнце, как у недотроги, не видел я ни у одного растения, живущего под пологом тайги. Она — сама нежность. Как знатная аристократка в чудесном замке Флоры, побаиваясь летнего загара, недотрога прячется от солнца в тени лесной. Наряжается и хорошеет она по вечерам, словно собирается на ночной бал цветов. На две-три четверти поднимается она над землей. Вокруг стебля округлые в зубчиках листья-медальоны. Из-за пазухи каждого из них выходят полупрозрачные водянистые тонкие, как волоски, ножки. На них появляются такие же налитые жидким светом капельки бутонов. Они живут только сегодня, а завтра из них проклюнутся медно-зеленые с поджатыми под брюшко хвостами маленькие «рыбки», головастые, привешанные за спинку, как елочные игрушки. Через ночь «рыбки» превращаются в плотно запечатанные «кульки». Смотришь на них и подмывает открыть и посмотреть, что за подарок спрятан? А на следующее утро вместо кулька висит изготовленная из сусального золота тонкостенная «серьга-подвеска».

Стоят лесные красавицы, нежные и нарядные. Убранство их — перламутровые капельки, металлические «рыбки» и сусальные подвески. Стебельки, на которых они висят, так тонки, что в лесном полумраке кажется, будто все эти украшения парят вокруг стеблей и листочков.

Часто прихожу на свидание с лесной красавицей. Присяду около, люблюсь. Слышу, как вокруг перешептываются травы, завидующие убранству недотроги. Вблизи распустившийся цветок ее кажется золотистой бабочкой, на миг присевшей отдохнуть.

Капризна и привычна к роскоши недотрога — лесная принцесса: что ни день — у нее новая подвеска, и носит ее она лишь ночью. Каждое новое утро меняет она серьги — одна другой краше.

Цветет недотрога почти все лето. Но ее украшает всего один цветок. И тот хрупкий и нежный, заденешь — опадет. Наверное, потому она и называется «недотрога» да еще обыкновенная. Но я неустанно восхищаюсь ее необычностью, хотя и знаю, что нельзя трогать, а хочется прикоснуться. Она сама будто приглашает: остановись, посмотри и тогда убедишься, как я нежна и прекрасна.

Характер красавицы под осень резко меняется, когда она уже не может цвести, украшать себя дорогими подвесками. На их месте — тонкие коричневые стручки. Если заденешь их, в тот же миг раздастся сухой щелчок — выстрел мелкой дробью семян. И хотя теперь она далеко не красавица, но по-прежнему недотрога и, оказывается, с нетерпением ждет, чтобы ее задели. Выстреленные семена обязательно угодят в землю. Следующей весной из них встанут нежные росточки-недотроги и будут наряжаться к июньскому балу в свои прекрасные украшения.

## **Золотыми тропами осени**

### **Зима начинается с гор**

Лето в высокогорье Алтая короткое, и уже в конце августа уступает место осени. В это время по ночам резвятся первые заморозки, оставляя на земле серебристый след и тонкие стекла льда в чашах озер.

Случается, выпадают снега, и тогда, рассеивая солнечный свет, ослепительно сверкают пики хребтов и обновленные снежинки. От заморозков рыжеют горные тундры и становятся похожими на полупустыню. Но несмотря на ранние холода и свирепые ветры, еще продолжают цвести многие растения-альпийцы: по дернистым полянкам на крепких стебельках видны венчики альпийских астр, похожих на махровые сиреневые звезды. По щебнистым прогалинам стоят голостебельчатые маки. Их ярко-кремовые венчики, пронизанные солнечным светом, словно горят желтоватым огоньком, похожим на

пламя затухающей свечи. Порывистые ветры пригибают их к земле, бьют о каменистую почву, будто пытаются сорвать и загасить пламя цветка. А они выслаиваются, живут, слабые и нежные, как последняя надежда.

У самой земли среди жухлой щетинистой осочки, от непогоды прячутся сине-голубые гецианы и виолы. И только в эту пору среди посеревшей и порывистой тундры стали заметными самые мелкие цветы — сиббальди. Они желтеют на ворсистых ковриках — зарослях куропачьей травы. Летом они терялись среди более ярких, теперь же невольно на них обращаешь внимание.

Много цветущих растений-альпийцев, не поддающихся осени. Если бы не пожелтевшая тундра, не подновленные снежинки, то здесь все было бы по-летнему — цветы и солнце.

Погода осенью переменчива: разыгрывается ветер, тоскливо свистит и завывает в уродливых стволах-карликах кедрового стланника, рождая грустную осеннюю мелодию. От набивших облаков темнеет небо. Сыплется рыхлый и сухой снег. С верещанием и повизгиванием снялась запоздавшая стайка чернозобых дроздов.

Тундра побелела, стала чистой и ровной. Только кое-где из-под снега пустынно проглядывают темные камни да чернеют уступы скал. Грусть предзимья разлилась всюду, воздух колкий и свежий. Кажется все — сюда пришла настоящая зима, нагнув свой белый саван на спины хребтов.

Но вскоре снегопад перестал. Небо очистилось и в пропавшем воздухе четко проступили убеленные вершины хребтов. Слова солнце, зачернели проталины, подняли свои головки маки. Ослепительной белизной сверкают снежинки. Там, выше, на них уже настоящая зима.

### Золотыми тропами осени

Не передать очарование отцветших осенних лугов, мерное дыхание ветров, несущих запахи с медно-золотистых полей; легкий гомон лесов, теряющих свой наряд. Солнце поднялось высоко, а я все иду по узкой глубокой тропе, выбитой копытами зверя, к лесистому перевалу. Внизу, в разрезах гор монотонно шумят быстрые речки. Тропа ведет через сумрачные хороводы пихтачей, через просветлевшие перелески листвяжника, сквозь сизый дым сквозных осинников. Она усыпана желтыми листочками берез и осин, ржавыми иглами облетающих лиственниц. Тропа без усталости бежит вверх, где белеют первые снега.

То и дело останавливаюсь, чтобы перевести дыхание, смотрю и вслушиваюсь в этот по-осеннему онемевший, чуткий простор. Дремлют немые распадки, и птицы молча вспыхивают светлыми крылышками в косых лучах света.

Вдруг с противоположного склона из легкого мрака наспившихся пихтачей по глазам ударил солнечный зайчик. В бинокль вижу сидящего на темно-зеленой пихте ворона, клюющего добычу. Черно-синее крыло его отражает световой зайчик, словно черное полированное стекло. С дерева снялась кедровка, дятловыми рывками на широких крыльях прошмыгнула мимо обомшелых комлей лиственниц и легко, как упавший лист, опустилась на светлую опушку у белоногих берез. Перед посадкой она описала небольшую дугу, и пестрым веером поднялись с земли рассыпанные листья. Легкими прыжками скачет птица вдоль тропы, оглядывая торчащие бугристые корни. Беззастенчиво сует свой клюв под мох, в расщелины. Вот опять пестрой бабочкой метнулась она в пихтовую чащу.

С каменистых россыпей, достигающих ручья, десятками птичьих глаз смотрят на меня с кустов черные гроздья ягод смородины. Застрявшая в стремительной воде ветка кланяется, словно соглашаясь со всем, что говорит ей речка. Я тоже согласен с ней. Согласен в том, что осень — лучшая пора в отзеленевшем лесу. По тропе я прошел перевал и лесом опустился к горному озеру, играющему бирюзой под чистым небом. В нем все та же задумчивость уходящего лета.

Солнце стоит над головой. Бьет по глазам отраженным светом. Прикрываю утомленные глаза. Пью льдистую прохладу воды. И вдруг слышу, как где-то под сторожкой ногой треснул сук. Над тропой, которой я пришел к озеру, качнулась и отодвинулась золотистая прядь березы. За ней показалась кустистая голова, которую несла огромная светло-шоколадная туша. Зверь бесшумно брел по тропе, легко переставлял сильные угловатые ноги. Заметив меня, лось остановился. Но, словно поняв, что это не враг, доверился, чуть свернул с тропы, поглядывая в мою сторону, также легко и бесшумно пошел к берегу. Он смело погрузил передние ноги в золотистое колыхание вод, опустил горбоносую морду и жадно, раздувая бока, стал пить. Умерив жажду, он поднял голову, роняя тонкие струйки и искристые капли с мягких отвисших губ. Я видел, как он закрыл глаза. То ли его ослепило солнце, играющее на воде, то ли он вслушивался в шорох крыльев лесных птиц, шелест пожелтевших трав и опадающих листьев. Уши его каждый раз дружно поворачивались на легкий звук ударившейся оземь переспевшей кедровой шишки. Он еще раз

нагнул тяжелую голову, задергал губами, зафыркал, будто сдувая упавшие на воду листья. По каменистым крыльям рогов его бежали солнечные нити. Кончив пить, лось медленно направился к тропе, даже не взглянув в мою сторону. Он шел, уныло опустив голову, будто озадаченный чем-то и недовольный.

И вновь — никого, только легкая осенняя грусть о светлых воспоминаниях. С горных перевалов спускалась осень такими же узкими и гибкими лесными тропами, как и эта, по которой пришел я.

С первой непогодой, бурями и тягучими мелкими дождями унесет и смое накопленное тишиной золото опадающего леса. На тропе останутся лишь глубокие полумесяцы от лосиных копыт.

### Лесная сказка

Над горами прошелся ветер, налег на посветлевшую осиную рошу у скошенного луга. Низко загудели облетевшие ветки. Роем взлетели в воздух последние листья, ходят плавными кругами, кувыркаются и ныряют в жухлые полегшие травы. Подхваченные ветром, они, подобно хороводу кремowych бабочек, садятся на разлапистые еще больше потемневшие пихты на соседнем склоне, или на скошенный луг, на макушки стожков, мягко тычутся в замшелые пни. Кругом — цветной лист, осенний и тревожный. Как жестяные, гремят они под ногами, солнечными бликами плывут по ручьям, кружат над лесом, с легким шорохом покрывают землю. Каждую минуту стекает с деревьев осенний наряд, с каждым часом все четче и четче серые облетевшие осины, окруженные черными пихтами.

Мое внимание привлек листок осины, зацепившейся за паутинку и теперь застрявший между землей и небом. Пройтый низким солнцем, он далеко заметен в темнохвойных кафтанах елей. Паутинка, на которой он висел, так тонка, что ее и не видно. Поэтому казалось, листок сам по себе увяз в янтаре косога луча, пробившегося под полог леса.

Думаю: «Отчего так красиво?» А около меня, оказывается, жила маленькая лесная сказка: паутинка вспыхивает тоненьким лучиком прямо в листок, осветив мгновение его полста. Он вдруг ожил и изо всех сил стал бить желтыми крылышками, чтобы вырваться на свободу. Мне захотелось ему помочь. Однако я не стал этого делать, ведь тогда безвозвратно уйдет сказка.

На какое-то время листок успокоился, но вскоре ни с то- ни с сего золотым маятником закачался на серебряной нити: влево-вправо, туда-сюда, чуть ближе, чуть дальше. Вижу, как он мелко-мелко дрожит тем самым осиновым озно- бом, когда в лесу поселяется осень. Дергается и бьется на ветру листок желтым пламенем. И я опять ловлю себя на мыс- ли, что лесная сказка живет. Если случится, что погаснет это живое пламя, в лесу сразу станет темней, исчезнет маленькое чудо. А, может, огонек разгорится, тогда он подожжет весь лес, и станут сказочными эти пихтачи.

Словно прислушиваясь к моим мыслям, желтый пленник паутины бездвижно висел. И, хотя в лесу тишина и безмятеж- ность, но вновь какая-то незримая и таинственная сила закру- тила его да так быстро, что он на глазах обратился в жел- тый шарик. И опять, уже в который раз спрашиваю себя: «Разве это не сказка, когда вокруг столько необычного, чудес- ного?»

Листок без усталости крутится. И вновь не позволяю себе прикоснуться ни к листку, ни к паутинке. Нельзя! Сказку, оказывается, очень легко и просто сломать.

### Осень наследила

Ходит-бродит по лесным кущам, по березовым перелескам и черемуховым уремам желтоглазая осень. Зорко высматри- вает выстоявшую первую заморозки зелень. Заметив, тотчас перекрашивает в свои яркие краски. Она где-то рядом, бес- шумно крадется лесными тропами, а увидеть ее никому не удается.

Я тоже брожу по лесным тропинкам, высматриваю ее, при- глядываюсь: не наследила ли где? Подошел к чистой и глад- кой, как стеклышко, заводи, глянул и увидел на дне ее опро- кинутые небеса. Через нее следы — к другому берегу. Следы ни птичьи, ни звериные, но хорошо знакомые, а где видел — не помню. Только оглянулся, сразу узнал, следы-то на калино- вые листья похожи. И вправду, калиновые, куст совсем ого- лился, на серых ветвях только ягоды рдеют. Вот такие следы у осени! Словно красно-желтыми звездами высветила она свой путь через заводи, чтобы ног не замочить. Следы ведут прямо к березке, что вчера была еще зеленой, а сегодня золо- тая. А может, это и есть сама осень? Мы ее никогда не видим, но по блеклой траве, пылающим перелескам всегда узнаем, что идет она по земле.

## Краски осени

Пришла осень — поставила по полям стога, позолотила степи, разукрасила леса и перелески. Поубавилось воды в озерах. Завесила осень дымкой дали, накинула серые туманы на спины горных вершин. Куда ни глянешь — все заметно изменилось. Часами можно любоваться живыми красками и, не уставая, вслушиваться в робкие голоса и шорохи. Смотришь — не насмотришься.

Перед глазами чистое небо. На нем — желтые, зеленые, красные листья. Дует ветер, пляшут и мелькают перед глазами краски. Сплошное мельтешение, голова кругом — красное, желтое, зеленое. Вот какого цвета осень!

## Лазоревки

Если говорить о самых красивых, о самых подвижных и любопытных птицах, то разговор непременно пойдет о синицах. Они самые заметные во все времена года, как в лесах, так и в городах, когда прилетают за помощью к человеку во время стужи и бескормицы. Синиц много, и каждому виду свойственны какие-либо черты в большей степени, чем другим.

Белые лазоревки, или князьки, хороши всем: красивы, голосисты, к тому же необычайно нежны на вид. Окраска у них самая «зимняя»: верх тела под стать снегу — белый с голубоватыми перышками, словно тень на снежном поле, низ совершенно светлый. Издали птичка кажется почти белой. Если удастся рассмотреть вблизи, поразишься до чего искусно раскрашена.

Голосок приятный и звонкий: ци-ци-фиррр! Его с другими не спутаешь.

Чаще всего встречаешь их зимой. Лазоревки держатся в это время парами. Целыми днями в заснеженных зарослях по берегам рек слышны их приятные голоса. Синички обыскивают стебли бурьянов или шершавые стволы деревьев.

Остановился я однажды около парочки лазоревок, занятых поисками корма, и сделал для себя маленькое открытие. Они простукивают клювиком стемель растения, и так узнают, где именно спрятались куколки или личинки насекомых. Скачет живым снежком синичка по стеблю полыни или репейника, а сама — тук-тук. Перепорхнет, и опять клювик в работе. Постукала, покрутилась, снова стучит. Потом вдруг неистово, удивляешься откуда только сила берется, начинает отчаянно долбить, наторпяв перья головы. Проходит минута-другая и

вот вскрывается стенка ствола, птица находит клад: одиночных и целые колонии оцепеневших от холода личинок. В суете и «переговорах» синичка собирает лакомство и снова, перелетев на другой ствол, отбивает «морзянку» — тук-тук-тук!

Помню давно, когда я еще был подвластен охотничьему азарту, лазоревки оказали мне услугу. Зимним утром забрел я в заснеженный лог, поросший ивняками и тростником. В чуткой тишине внезапно прозвенел тревожный голосок синиц-лазоревок. Натопорщив на головках перышки, они наперебой кричали и все что-то заглядывали в заломы. Было ясно, что кричат они неспроста — там, в кустах кто-то прячется. Оставалось только подождать, пока тот, на чью голову обрушился крик, покажется сам. Недолго пришлось ожидать: синицы, не переставая кричать, начали перепархивать, продвигаясь постепенно в мою сторону. Обруганный зверь не выдержал бесперебойного галдежа, решил удалиться, чтобы не слышать досужих спутниц. Синицы — уже в двадцати шагах и галдят, не унимаются. Слышен шорох, а затем сквозь заросли ироявляется силуэт лисы. Отставив вытянутый с досады и напряжения хвост, лиса поглядывает на докучливых пичуг и сторожко пробирается. Она шла, не подозревая, что недалеко, затаив дыхание, за ней пристально наблюдает охотник, то есть я.

Не зря же говорят, что на ловца и зверь бежит, если, разумеется, у этого ловца есть такие помощники, как белые лазоревки.

## Содержание

МАТУШКА ДА ГЛАГОЛЬ . . . . .	3
АЛЫЕ ЗОРИ . . . . .	35
СИНЕГОРЬЕ . . . . .	56
РАЗГОВОР ЦВЕТОВ . . . . .	112
ЗОЛОТЫМИ ТРОПАМИ ОСЕНИ . . . . .	121

### Золотыми тропами осени

Заведующий редакцией А. Т. Макашев  
Редактор М. М. Ефремкина  
Ответственный за выпуск М. Д. Игликов  
Художественный редактор Б. Жаларов  
Технический редактор Ф. К. Шабанова  
Корректор С. И. Новикова

ИБ 2293

Сдано в набор 26.09.82. Подписано к печати 28.02.83. УГ 18070. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Объем п. л. 6,7. Уч.-изд. л. 7,8. Заказ № 1546. Тираж 30 000 экз. Цена 25 коп.

Издательство «Кайнар» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Китан» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.